

Георгий Фёдоров.

Дневная поверхность

## ВВЕДЕНИЕ

Каждое утро всходило солнце и начинались дневные труды, заботы, радости, горести. Но вдруг надвигалась беда. Вспыхивало пламя пожара, или неведомо откуда налетали орды диких и страшных врагов. В огне и битве гибли люди.

А то и по другим причинам уходили жители с насиженных мест. И жизнь на поселении замирала. По брошенным жилищам гулял ветер, разрушал их, сравнивал с землей, заносил песком, устилал мягким ковром опадающих листьев.

Время шло. И вот уже ничто не напоминает о том, что здесь когда-то жили люди.

Шелестят вокруг травы, шумят леса, высятся песчаные холмы. Поселение навсегда исчезло с поверхности земли, погрузилось в вечную ночь.

Но упорна человеческая память.

По едва заметным следам древних культур идут археологи — разведчики истории. Они проникают в глубь земли, чтобы вновь осветили солнечные лучи остатки древних поселений, их дневную поверхность, как говорят археологи. Нелёгкий, но нужный труд. Потому что как будущее исходит из настоящего, так и настоящее исходит из прошлого. Без знания пройденного пути человек не найдет дороги и к горизонтам будущего.

Студентом третьего курса поехал я впервые в экспедицию, и с тех пор двадцать шесть лет моей жизни посвящены археологии. Так будет и впредь.

Поэтому и написал я книгу об археологах и археологии.

Мне хотелось рассказать в ней о том, как были раскрыты некоторые тайны истории, как на пути в неизвестное формируются в молодых исследователях качества подлинных учёных.

Я пишу только о тех экспедициях, в которых мне самому посчастливилось принять участие, и то далеко не обо всех. Ежегодно сотни археологов работают в самых различных районах нашей страны — от Белого до Чёрного моря и от Дуная до Тихого океана. Чтобы рассказать об их открытиях, потребовались бы многие тома книг.

Напрасно было бы искать в этом рассказе и описания каких-либо особых сенсационных происшествий. В правильно организованной экспедиции их не должно быть и почти не бывает. Романтика археологической работы совсем в другом — в научном предвидении, в напряжении поиска, в ни с чем не сравнимой радости первооткрывателей. Знания и страстная любовь к делу должны сочетаться у археолога с точностью математика, пылкостью следователя, воображением художника.

Археология изучает историческое прошлое по вещественным источникам. Но только тот

может стать настоящим учёным, кто видит за древними вещами и остатками сооружений их творцов, кто умеет в тяжёлом и увлекательном труде воссоздать историческое прошлое народов, судьбы давно ушедших людей.

Лопаты и кирки разрывают земляную мантию, укрывающую тайны истории, скальпели, шпатели и кисточки тщательно расчищают древние вещи, в инфракрасных лучах на истлевшем папирусе выступают буквы, начертанные неведомой рукой несколько тысяч лет назад.

То пронизывающий холодный ветер свистит по раскопкам, то клубится пыль в раскалённом воздухе, то хлещет дождь. Но работа продолжается. И на дневную поверхность жизни выходят не только зримые приметы прошлого, но и скрытые силы, и человеческие качества самих участников экспедиции. Из тех, кто работает на раскопках — рабочие, студенты, школьники, — многие «заболевают» археологией на всю жизнь, становятся опытными и смелыми учёными.

...Солнце высушивает росу на поlogах брезентовых палаток, возвещая начало нового трудового дня. Продолжается вечная эстафета от поколения к поколению, от учителя к ученику в раскрытии самых сокровенных тайн человеческой истории — неопенимого концентрированного опыта сотен поколений.

Я рассказываю всего о нескольких эпизодах этой эстафеты нашей науки. Все, что здесь описывается, было в действительности. Только в некоторых случаях изменены фамилии, сдвинуты во времени и пространстве события.

Если читатель, познакомившись с этой книгой, узнает кое-что новое о труде археологов и об археологии и полюбит её, то цель, которую я видел перед собой, когда начинал писать, будет достигнута.

## ГРАНИЦА

На кафедру Большой зоологической аудитории неловко поднялся высокий румяный человек с чёрной шапкой волос над мощным куполом лба. Ярко-красные губы его были сложены как у девушки — сердечком.

С минуту он постоял, переминаясь с ноги на ногу. Потом смущённо улыбнулся и, повернувшись спиной к студентам, подошёл к доске и принялся писать на пей мелом. Через некоторое время он снова стремительно вскочил на кафедру с таким выражением лица, какое бывает у нырлящика, прыгающего с десятиметровой вышки, и трубным голосом сказал:

— Прежде чем начать турс летций но археолодии, я должен предупредить, что страдаю орданичестим недостатком речи: я не выдовариваю двух бутв, — он покраснел и закричал на нею аудиторию, — «К» и «Г», — произнеся их совершенно отчётливо.

Он отступил в сторону от доски, и стали видны огромные буквы «К» и «Г», написанные круглым детским почерком.

Аудитория оживилась, а с верхних ярусов, где сидели мы с Шурой, послышался даже чей-то дружелюбный сдержанный смех.

— Ну, вот видишь? — прошептал я Шуре. — А ты ещё думал, что археология — скука смертная. Нет, брат, здесь не соскучишься!

И я с моим другом и однокурсником Шурой Монгайтом приготовились мило развлекаться до конца лекции.

Между тем профессор, яростно сверля взглядом сверкающих чёрных глаз наличник входной двери, расположенной напротив кафедры, сдавленным от волнения голосом продолжал:

— Само слово «археология» звучит неопределённо. «Архайос» по-дречести — «древний», «лодос» — «наута», точнее, «слово». Археология — история, вооружённая лопатой. Относительное значение археологии среди других исторических наук мне не хотелось бы преувеличивать. Все равно такое преувеличение было бы объяснено односторонним пристрастием специалиста. Но если количество вновь открытых письменных источников растёт очень медленно, то археология каждые двадцать—тридцать лет удваивает свои источники, и притом основные. Вся деятельность обычно историка протекает в узком пространстве письменного стола. Поле деятельности археолога шире: степи и доры, пустыни, болота, моря, рети.

Ого! Мы с Шурой переглянулись. Это уже становилось не таким смешным, как казалось вначале. А профессор продолжал говорить тем же яростным, сдавленным голосом, и свежий могучий ветер странствий, поисков и открытий ворвался в аудиторию. Он шевелил наши волосы, наполнял лёгкие, приносил тревожные, загадочные, ещё непонятные ароматы. Мы уже не замечали странного выговора нашего лектора. В аудитории стояла та напряжённая тишина, в которой властвует только мысль.

Во всех концах земли в стремлении проникнуть в самые сокровенные тайны человеческого прошлого идут разведчики истории — археологи.

Вот молодой французский учёный Кастере, веря свою судьбу только интуиции и неясным для нас соображениям, ныряет в уходящую под землю реку, навстречу неминуемой гибели. Но Кастере не погибает. Едва не захлебнувшись, выныривает он на дне огромной пещеры, и луч света его фонарика выхватывает из тьмы глиняную статую медведя, изображения зубров, оленей и мамонтов, выбитых в скале людьми каменного века.

А вот на заснеженных склонах Горного Алтая русские археологи коченеющими от холода руками разбирают огромные каменные курганы. Под насыпью, в зоне вечной мерзлоты, находят они ковры с изображением тигровых голов и диковинных процессий, лошадей с масками оленей, татуированных людей в одежде, отороченной мехом соболя и горностая, покрытой золотыми узорными бляшками.

А вот на дне Средиземного моря в тяжёлых скафандрах работают археологи, разбирая древнегреческие амфоры на борту покрытой водорослями финикийской галеры, затонувшей здесь ещё за несколько веков до нашей эры...

Когда прозвенел звонок, возвестивший конец лекции, стены и потолок снова сомкнулись над нами и профессор, помычав, пошаркав на прощание, ушёл, загребая ногами.

Мы с Шурой ещё долго сидели на своих местах, молчали и старались не смотреть друг другу в глаза. Что это? Может быть, приподнялся занавес, и мы краешком глаза увидели великий звёздный мир науки? Может быть, это именно то, за чем мы пришли в университет и уже думали, что никогда не увидим? Может быть, это именно то, ради чего и стоит жить на свете?

Мы не разговаривали с Шурой на эти темы, но с жадностью слушали лекции по археологии и с невиданным ещё для нас, третьекурсников, прилежанием набросились на научную литературу.

Порывистый, неукротимый, ясный в любой фразе американец Осборн, обстоятельный

дотошный немец Обермайер, сухой, умный, желчный украинец Ефименко и многие другие нашли в нас благодарных читателей своих трудов по палеолиту и неолиту.

Лекции нашего профессора были удивительно насыщены: факты, события, даты, имена, теории, гипотезы, выводы. Чтение сопровождалось демонстрацией диапозитивов. Чтобы усвоить лекцию, записать её, требовалось огромное напряжение. Мы уже не смеялись над причудами профессора и даже с неприязнью смотрели на тех, кто ещё улыбался, слушая его.

А чудачеств у нашего профессора было немало. Он, например, почему-то избегал произносить слово «женщина», а если выхода не было, то говорил: «мужчины и остальные». Впрочем, однажды во время лекции он все же произнес слово «женщина». Лучше бы он этого не делал! Это было во время лекции о верхнем палеолите. Яростным голосом командира, поднимающего роту в штыковую атаку, профессор прокричал:

— Истусство мира началось сорот тысяч лет назад, в эпоху ориньята. Первым видом истусства была ступьтура. Первым объеттом истусства была женщина.

Тут он сдавленным голосом произнёс:

— Подасите свет!

Свет погасили, и на экране вспыхнули необычайно выразительные женские статуэтки. А из темноты раздался отчаянный вопль профессора:

— Долая женщина! Со стеатопидией!

И профессор указкой ткнул в огромные каменные ягодицы скульптуры...

Постепенно археология стала отнимать у нас с Шурой все больше и больше времени. Запоминать тысячи фактов было нелегко, особенно трудно иной раз было понять их значение. Пока шли лекции о палеолите и неолите, все ещё было ничего. Тяжёлые каменные волны человеческой истории накатывались в определённой последовательности. В нижнем палеолите человек изготавливал только примитивные, обитые с двух сторон каменные орудия, в среднем — научился с помощью скалывания делать из камня тонкие и острые пластины. В верхнем — обработка камня достигла совершенства и очень широко стали применяться костяные орудия. В неолите человек научился полировать каменные орудия. С различными этапами развития каменной индустрии легко связывались в памяти и другие важнейшие явления человеческой истории: овладение огнём, начало и развитие гончарства, появление искусства, приручение животных, становление современного типа человека.

Но вот кончился каменный век, начался век бронзы, и распалась связь времён. Единство развития, его строгая логичность и последовательность сменились, как нам тогда казалось, величайшей путаницей и неразберихой. Кочевники с их примитивной культурой сметали разумные, высокоразвитые поселения земледельцев. На одном конце земли создавались могучие цивилизации, а на другом еще продолжал господствовать каменный век. Мы не умели осмыслить закономерность этих явлений, связать друг с другом разнообразие уровней и характеров различных культур.

Из всех предметов, по которым читались лекции на курсе, археология, безусловно, была самым трудным и трудоёмким. Мало было записывать и запоминать лекции: мы часами проводили время в музеях, изучая экспонаты и сверяя свои записи с музейными этикетками, мы копались в трудной литературе, в подавляющем большинстве на иностранных языках. Мы очень уставали, и только вера в то, что «как будто не все пересчитаны звезды, как будто бы мир не открыт до конца» и, может быть, и нам здесь найдется работа, поддерживала нас. Да ещё неясные слухи, что профессор поедет летом в экспедицию и возьмёт с собой лучших

студентов.

Подошло время экзаменов. Ни к одному из них мы не готовились так добросовестно, как к археологии, да и не было другого такого трудного экзамена. Дело тут было не только в самом предмете, но и в особенностях экзаменатора. Профессора невозможно было провести никакими студенческими уловками. Например, его нельзя было удивить знанием каких-то якобы существующих мельчайших деталей и подробностей вопроса. Профессор знал все. Абсолютно все. Он безошибочно помнил даже фамилию, имя и отчество каждого студента на курсе. О его феноменальных знаниях и памяти ходили легенды. В Институте археологии Академии наук, где мы частенько стали бывать, сотрудники, посмеиваясь и в то же время с уважением, рассказывали нам такое о памяти профессора, что мы одновременно и гордились им и ужасались нашей грядущей судьбе. Сотрудники говорили, что профессор знает отлично биографии всех римских консулов, всех французских министров за все время существования Франции, всех американских президентов и даже почему-то всех членов Государственной думы всех четырёх созывов. Это последнее обстоятельство, хотя и не имевшее прямого отношения к археологии, особенно внушало нам ужас.

Да, тут не вывернешься.

Приходилось готовиться всерьёз, без дураков. Причём всем, а не только тем, кто уже успел полюбить и профессора, и археологию. Мы страшно завидовали примерной курсовой отличнице Клаве. Она успевала записывать во время лекций каждое слово и даже составила корреляционную таблицу выговора профессора, в которой значилось, что вместо буквы «К» он обычно говорит букву «Т», а вместо буквы «Г» — букву «Д».

Наступил день экзаменов. Мы галантно уступили первую очередь Клаве, а сами, получив билеты, стали судорожно готовиться к ответу под бдительным взором профессора. Клава после коротких раздумий начала отвечать. Первый вопрос у неё был о языке в Древней Руси. Клава заговорила о знаменитом черниговском кургане «Чёрная могила», где было найдено погребение князя X века. Среди богатого инвентаря, обнаруженного в кургане, выделялись два турьих рога с серебряной рельефной оковкой. Клава монотонно и чётко пересказывала наизусть содержание лекции профессора о «Чёрной могиле». И вдруг мы с изумлением услышали, что Клава говорит:

— Наиболее известны из вещей, найденных в могиле, курьи рога.

Профессор ошеломлённо переспросил:

— Что? Что?

— Курьи рога, — не моргнув глазом, повторила Клава, уверенная в точности своих записей и непогрешимости своих корреляционных таблиц.

Профессор возмущённо фыркнул на весь зал, покраснел и сказал дрожащим от негодования голосом:

— Очень дупо! У тур родов не бывает! Вы не понимаете. Неудовлетворительно!

Клава, действительно так ничего и не поняв, обиженная, удалилась. А мы с Шурой, больше всего озабоченные тем, чтобы не рассмеяться, забыли о наших страхах и благополучно сдали экзамены.

Через несколько дней начался набор студентов в экспедицию. Профессор выступил с короткой и страстной речью, смысл которой сводился к тому, что всем нам придётся работать землекопами, а это дело тяжёлое и ответственное. Но мы с Шурой были уже стреляные воробьи и понимали — раз пугает и отговаривает, значит, дело стоящее. Впрочем, может

быть, именно на такой эффект и рассчитывал профессор. Однако оказалось, что согласие профессора еще далеко не все. Чтобы поехать в экспедицию, нужно было пройти строгую медкомиссию. Тут мы с Шурой изрядно встревожились. Среди записавшихся были признанные богатыри курса, такие, как военный моряк Ивам Птицын, в двадцать шесть лет спустившийся с капитанского мостика на студенческую скамью, человек с необыкновенной биографией и сказочной силой. А у Шуры ещё в юности, когда он работал краснодеревцем, появилась сильная сутулость, а у меня после перелома позвоночника правая рука была гораздо слабее, чем полагается.

Мы попробовали уговорить профессора, чтобы он нам разрешил не проходить комиссии, но профессор отказал, сопроводив свой отказ загадочной фразой:

— Жизнь можно и должно жертвовать для науки, а здоровьем — нельзя.

Делать было нечего, и мы поплелись на медосмотр. К счастью, наши страхи оказались напрасными.

И вот мы трясемся в плацкартном вагоне пассажирского поезда по направлению к Новгороду, где будет работать экспедиция. На мне висят бинокль, полевая сумка, планшет, фотоаппарат. Мне поручено охранять огромную бутылку с формалином, ящики с ножами, рулетками, миллиметровкой и другим экспедиционным имуществом. Я важно отвечаю на вопросы любопытствующих пассажиров. Вопросов много, на некоторые из них я и сам не знаю, что ответить. Но, не желая ударить в грязь лицом, говорю весьма авторитетным тоном и только с досадой отворачиваюсь от насмешливого взгляда Ивана Птицына.

Я все больше входил в роль бывалого экспедиционника, как вдруг случилось непоправимое: вагон сильно тряхнуло на стыке и бутылка с формалином, стоявшая рядом со мной на сиденье, соскользнула и грохнулась об пол (я совсем забыл о ней). Быстро пробормотав: «Извините, меня зовут», я выскочил из вагона, таща за собой ничего не понимавшего Шуру. Мы пробежали по всему поезду и остановились только в тамбуре переднего вагона. Но даже тут были слышны в открытые окна вопли и проклятия пассажиров покинутого нами вагона. Как нам потом рассказывал Птицын, ядовитые пары формалина заставили пассажиров разбежаться кого куда. Они проклинали его, единственного оставшегося на месте члена экспедиции. Иван мужественно вышвырнул в окно разбитую бутылку. Часа через два запах формалина выветрился. Пассажиры снова заняли свои места, но нам с Шурой как-то не хотелось возвращаться в этот вагон. До самого Новгорода мы простояли в тамбуре, предоставляя удовлетворять любопытство пассажиров другим участникам экспедиции...

Великий Новгород! Десятки раз бывал я в этом неповторимом городе. Помню утопающий в зелени одноэтажный и двухэтажный город довоенных лет с кривыми, мощёнными булыжником улочками и стройными каменными соборами. Помню разорённый, испоганенный врагами город времён войны. Окровавленные, обнажившиеся кирпичом стены домов, скелеты ободранных куполов, закопчённые, загаженные фрески Феофана Грека и хвастливая надпись «Гибралтар Эспана!», — сделанная каким-то вырожденком из франкистской «Голубой дивизии» на стене Юрьева монастыря. И самое странное и страшное: над грудой развалин взорванной фашистами церкви Спас Нередицы — одного из шедевров русского искусства и архитектуры XII века — наполовину уцелевший столп. А на столпе тёмная, потрескавшаяся фреска: женщина со сложенными на груди тонкими руками, с огромными скорбными глазами, устремлёнными за реку, где чернеют руины великого города. Веками это византийское лицо скрывало свою печаль в тени высоких сводов храма, а теперь, открытое всем ветрам и непогодам, оно обрело новую глубину и смысл.

Я помню худых, искалеченных войной людей, которые в разрушенном, голодном городе упрямо расчищали развалины, камень за камнем восстанавливали родной город.

Я знаю и люблю современный Новгород с его широкими асфальтированными проспектами и многоэтажными зданиями, с его средневековыми соборами, напоминающими о великом прошлом этого города. Каждый раз, когда вдалеке над равниной возникают золотые купола Святой Софии, когда я вижу бурный Волхов и туманную дымку над Ильмень-озером, я не могу сдержать волнения. Но, пожалуй, ничто не сравнится с тем впечатлением, которое произвел на меня Новгород, когда я впервые увидел его студентом.

Мы подъехали к городу под вечер. Имущество погрузили в машину, а сами с нашим профессором пошли пешком. Профессор, ставший очень серьёзным, почти торжественным, говорил нам о великой истории города. Соборы, как отдыхающие птицы на зелёном лугу, сложили белые крылья закомар и тихо дремали. Небо было тревожным. Низкие тяжёлые облака, темно-синие снизу, пепельные сверху, сталкиваясь друг с другом, вздымались, взвихриваясь в светлом, блеклом небе. Сквозь редкие их просветы неяркие лучи северного солнца освещали белые буруны на гребнях серо-зелёных волн Волхова. Большой мост через реку, срубленный из темных вековых брёвен, вызывал ощущение гордости и тревоги. Нам казалось, что это тот самый мост, на котором дрались древние новгородцы, когда бывали меж ними «голка[1], мятеж и нелюбовь». А теперь мы шли по этому мосту.

Профессор шагал, по обыкновению загребая ногами. Шнурки на его ботинках развязались, он наступал на них, отчего иногда слегка спотыкался. Некоторые прохожие с улыбкой смотрели на профессора. Мне стало мучительно обидно за него, хотелось сказать про шнурки, но я подумал: «Какая, в сущности, все это чепуха по сравнению с тем, что мы видим и слышим!» — и не прервал его объяснений.

Темно-красным пламенем пылали стены новгородского кремля, чернели башни, среди которых выделялся неуклюжей мощью четырёхгранный Кукуй. Высокой травой поросли рвы, вырытые Петром после Нарвской битвы. А вот и Святая София, о которой новгородцы говорят: «Где Святая София — там и Новгород!» На одном из ее крестов застыл чугунный голубь. По преданию, когда великий князь московский Иван III победил новгородцев и уничтожил вольность Великого Новгорода, замер и стал чугунным голубь, сидевший на кресте Святой Софии. И поныне он там.

Вечерняя площадь, где в многоголосом гуле, в схватках решались судьбы войны и мира Новгородской республики, где Александр Невский, отправляясь на битву с тевтонами к Вороньему камню, обратился к богу с молитвой: «Господи, разреши мой спор с этим высокомерным народом!» Страницы истории родной земли, знакомые раньше только по книгам, обретали плоть и кровь, и каждый встречный казался нам древним новгородцем. Сердце замирало при мысли, что нам суждено проникнуть в еще не раскрытые тайны великого города...

Раскопы были разбиты на Торговой стороне, на Ярославовом дворище, где когда-то находился княжеский двор, а после изгнания князя — торговая площадь. Между Николо-дворищенским собором и церковью Параскевы Пятницы легли четыре чёрных прямоугольника. Они были ориентированы строго по странам света, разделены колышками и белым трассировочным шнуром на квадраты площадью в четыре метра каждый. Культурный слой нужно было разбирать по пластам толщиной в двадцать сантиметров. Для каждой находки полагалось указывать глубину, на которой она была обнаружена, номер пласта, номер квадрата и расстояние от его границ. Таким образом, любая найденная вещь помещалась как бы внутри жёсткого каркаса квадратов и пластов в чётко фиксированном месте.

Нас разбили на пары. Каждая пара получила лопату, медорезный нож с кривоколенной рукояткой и кисточку. Один студент раскапывал землю, а другой разбивал её на мелкие комочки медорезным ножом, расчищал кисточкой. Потом менялись. Мы с Шурой просили начальника раскопа — строгую женщину с крупными чертами лица, по имени Сирена

Авдеевна, — поставить нас в одну пару. Однако она отказала нам, сказав, что вместе мы можем гулять после работы.

И вот работа началась. Она была совсем не лёгкой и совсем не такой, как представлялось в Москве. Мы вовсе не листали страницы истории великой книги земли. Все эти московские представления казались теперь романтическими бреднями. Мы ничего не листали. Мы вгрызались в эту землю, да добро бы ещё в землю! Под тонким слоем потрескавшейся окаменевшей почвы шла кирпичная щебёнка, плотно слежавшаяся за века. Это были, как лаконично и нехотя объяснила нам Сирена Авдеевна, остатки строительства и ремонта разных зданий и соборов. Лопаты не брали щебёнку и ломались. Все чаще приходилось разбивать её киркой. Не лучше было и тому, кто работал с медорезкой. Вывороченную щебёнку и плотную окаменевшую землю нужно было быстро разбивать почти до пылевидного состояния. Изредка попадались мелкие обломки горшков. Их полагалось ссыпать в особые мешочки, пересчитывать и сдавать Сирене Авдеевне. Лето в тот год выдалось какое-то особенно душное и жаркое. Пот, катившийся с нас, перемешался с кирпичной пылью, разъедал глаза. Все тело стало чесаться. А через два часа после начала работы заныли все мышцы. У меня дрожала и плохо слушалась правая рука. При этом стоило на минуту разогнуть спину и отереть пот с лица, как слышался спокойный, скрипучий голос Сирены Авдеевны:

— Работайте! Работайте тщательно, отдыхать будете во время перерыва!

Только из самолюбия и злости я не бросал лопату. Когда кончился первый рабочий день, мы еле добрались до дома, где снимали койки, и не раздеваясь завалились спать. С отвращением забросил я под кровать и бинокль, и полевую сумку, и планшет. Много времени прошло до того, как они мне действительно понадобились.

Постепенно мы втянулись в землекопную работу, стали меньше уставать, хотя все-таки уставали здорово. В первую же неделю это привело к скандалу.

Однажды после работы мы, как были — нотные, грязные, в одних трусах, отправились обедать в единственный городской ресторан, откуда и были изгнаны после шумных препирательств. Только Иван Птицын, всегда чистый и свежий (после восьмичасового единоборства с грунтом и щебёнкой он залезал в Волхов и долго плавал там как морж, разминая в воде могучее тело), был допущен в «святая святых».

Потом работать стало легче. Легче, но почти так же неинтересно, как и в первый день. Все время одно и то же. С утра восемь часов подряд копай, то лопатой, то киркой, то медорезкой, и считай обломки горшков. Тяжёлая, скучная, однообразная работа! Да ещё злила нас Сирена Авдеевна, которая ни секунды не давала нам передохнуть и не доверяла нам ни в чем, каждый раз вытряхивая керамику из мешочков, чтобы пересчитать самой. Вот и дождалась, что как-то ей в мешочек подсунули мышонка, а мышей она смертельно боялась.

Иногда попадались на квадратах и различные вещи, но мы их не видели. Сирена Авдеевна тут же отбирала их, упаковывала, прятала и наносила место находки на план. Мы расспрашивали об этих вещах у тех, кто их нашёл. Но они и сами часто не знали, что выкопали из земли. Когда мы пытались расспрашивать Сирену Авдеевну, она отвечала обычно:

— Работайте, работайте тщательно! Ваше дело работать, а разбирать находки будете потом, если станете археологами.

Профессор появлялся то на одном, то на другом раскопе, говорил о том, что прослойка угля, которую мы раскапывали, — остатки пожара, отмеченного летописью в таком-то году. Это было уже интересно, хотя и непонятно, откуда он это узнал. Расспрашивать его во время работы казалось неудобным. А глядя на помолодевшего, счастливого профессора, совестно



было и жаловаться на то, что Сирена Авдеевна ни в чем нам не доверяет и ничего не объясняет. Да имели ли мы право на это? Ведь нас взяли в качестве рабочих—землекопов, значит, мы и должны копать, а в остальное не вмешиваться.

Да, все оказалось совсем не таким, как представлялось в Москве. А тут ещё и раскоп у нас попался какой—то особенно невезучий. На других хотя бы находили какие—то вещи, а у нас ничего, кроме однообразных фрагментов керамики, которая всем уже изрядно надоела. Правда, после того как наш раскоп углубился больше чем на метр, в изобилии стали попадаться кости животных, главным образом коровьи челюсти. Непонятно было, откуда и зачем они здесь. Когда мы с Шурой отважились спросить об этом Сирену Авдеевну, она ответила:

— Очищайте тщательно челюсти, а объяснять это будет руководство экспедиции.

После этого и челюсти нам опротивели. Да мы подозревали, что и сама Сирена Авдеевна не знает, откуда и зачем эти челюсти. Наверное, Сирена Авдеевна была честным и добросовестным работником, но все у неё получалось так скучно, и так она подчёркивала, что мы только землекопы, что мы все больше и больше разочаровывались в археологии. Все стало раздражать меня. Даже когда помощник Сирены Авдеевны тихая и добрая женщина Гликерия Петровна говорила мне: «Товарищ Фёдоров, прошу вас, не сидите на земле. Вы получите ишиас, я по собственному опыту знаю, какая это мучительная болезнь!» — я отвечал на это заботливое замечание дерзостью.

Единственной отдушиной были воскресенья. В этот день с утра профессор облачался в белый, безукоризненно чистый, отутюженный костюм, хотя и сидевший на нем мешком, ярко—жёлтые ботинки и ходил с нами по Новгороду и его окрестностям. Это было удивительно интересно. Мы осматривали длинные низкие палаты Марфы Посадницы, разглядывали то яростные, то величавые лица столпников на стенах церкви Спаса—на—Ильине, смотрели на нежные и грустные, полные огня и страсти, но всегда по—византийски утонченные фрески Спас Нередицы. В рассказах нашего профессора все это оживало, превращалось в вехи истории великого города, его путей и перепутий. А профессор, обладая не только удивительной памятью и эрудицией, но и способностью бесконечно увлекаться виденным, вспоминал и историю многих других знаменитых городов, воссоздавая прошлое так, что мы как бы воочию видели жизнь ушедших поколений. Когда четверть века спустя бродил я под жарким итальянским солнцем по улицам Помпеи, то, как в знакомый дом, вошёл во дворец купцов Ветиев, — так ярко и красочно описал его профессор когда—то на берегу Волхова.

Профессор ко всему — к людям, к истории, к событиям — относился с огромным увлечением, ни к чему не был равнодушен и не терпел равнодушия в других. Как—то раз он спросил меня:

— Вы любите поэзию Блота?

Занятый другими мыслями, я ответил рассеянно:

— Да, я люблю Блока.

Профессор рассвирепел, яростно фыркнул и пробурчал:

— Тот, кто любит Блота, тат об этом не доводит!

К концу каждого воскресенья мы были совершенно измучены огромным количеством впечатлений, но и совершенно счастливы. Тем скучнее и бессмысленнее казалась нам наша работа с утра в понедельник, тем резче был контраст между «большой археологией» профессора и «малой археологией» Сирены Авдеевны. Да, конечно, теоретически мы понимали, что путь к «большой археологии» лежит через «малую археологию», но уж очень

они не соответствовали друг другу, и практически связь между ними казалась неуловимой. А Сирена Авдеевна, чувствуя наш пассивный протест, удваивала строгость. Только и слышны были на раскопке её замечания. Но я решил все вытерпеть, чтобы остаться археологом, вернее, чтобы им стать. Я старался заглушить в самом себе чувство протеста. Работал изо всех сил, несмотря на больную руку, и все же получал очень много замечаний. Впрочем, иногда эти замечания были правильными, хотя я все делал добросовестно. Так, например, мой напарник, мягкий, добрый, но дотошный Эля Таубин, говорил мне:

— Промерь—ка расстояние от этого камня до угла квадрата.

Я промерял и сообщил ему:

— Тридцать семь с половиной сантиметров.

Эля с сомнением жевал губами, сам брался за рулетку, и у него получалось 53 сантиметра. Потом контрольный промер делала Сирена Авдеевна, и у нее выходило 82 сантиметра. Сирена Авдеевна приходила в неистовство, но я и до сих пор не могу понять, почему так получалось. А ещё меня удивляло, что Шура, о котором я точно знал, что он не особенно любит физический труд, числился в лучших рабочих и Сирена Авдеевна вечно ставила нам его в пример. Когда после работы я спрашивал Шуру, как ему удаётся так здорово работать, он односложно отвечал: «Стараюсь», а на мои расспросы и сомнения пожимал плечами и говорил: «Не морочь голову!»

Однажды мой напарник заболел, и меня поставили работать с Шурой. Не желая ударить лицом в грязь перед лучшим работником раскопа, я всю орудовал лопатой, не давая себе и секунды отдыха. Шура еле поспевал просматривать за мной землю. И вдруг я с удивлением услышал, как Шура, брезгливо выпятив нижнюю губу, ворчит:

— Вот! Поставили идиота на мою голову! Надорвешься тут с таким дураком!

— Шура! В чем дело? — спросил я. — Разве я плохо работаю?

— Ты идиот! — мрачно ответил Шура, отирая пот со лба.

— А как же надо работать?

Шура с сомнением посмотрел на меня, а потом спросил:

— Никому не расскажешь?

Я заверил, что никому ни слова не скажу, хотя решительно ничего не понимал. Тогда Шура сказал:

— Видишь, лежит на земле щепочка?

Да, такая щепочка лежала. Шура нагнулся над ней, кончиком ножа скovyрнул немного налипшей земли и потом дунул на это место. Земля слетела, и обнажился маленький участок чистой древесины.

— Вот так и делай! — назидательно сказал Шура.

Я повторил его движения: ковырнул, дунул. Обнажился ещё участочек древесины.

— Понял? — спросил Шура.

Я попытался что-то сказать, но Шура прервал меня:

— Довольно болтать, работать надо! — и склонился над другой щепочкой.

Некоторое время я машинально ковырял свою щепочку и дул на нее, а потом все-таки понял, чего хотел от меня Шура, и жизнь показалась мне до обиды легкой. Часа три ковырял я грязь на щепочке и дул на нее. В результате щепочка сияла первозданной чистотой, на ней отчетливо видна была каждая нитка древесины. Остаток дня я посвятил той же операции на одной из коровьих челюстей. Я так начистил зубы этой челюсти, что ее можно было использовать в качестве рекламы зубной пасты. В конце дня Шура позвал Сирену Авдеевну и показал ей свою и мою работу. Сирена Авдеевна довольным тоном сказала мне:

— Ну, вот что значит хорошее влияние! Наконец вы научились работать тщательно!

Я не сдержал обещания, данного Шуре, и рассказал о его гениальном изобретении нескольким товарищам, а они оповестили всех остальных. Великое монгайтовское движение охватило раскоп. Все целые дни старательно ковыряли ножами и дули, лишь иногда для виду помахивая лопатами. Все мы стали «ударниками», все научились работать «тщательно», но работы на раскопе почти остановились. Только Иван Птицын продолжал копать на совесть, и на нем сосредоточила Сирена Авдеевна огонь своих критических замечаний и придинок. Но Иван и не такое выдывал на своём веку. Он молча продолжал орудовать лопатой. Только если Сирена Авдеевна уж очень его допекала, он, безмятежно глядя на неё своими большими серыми глазами, спрашивал :

— Знаете ли вы, почтеннейшая Сирена Авдеевна, что делает курьерский поезд, когда он опаздывает на перегоне?

— Что? — Озадаченно отзывалась Сирена Авдеевна.

Тогда Иван, не без труда соорудив на своём открытом добродушном лице зверскую гримасу, могучим волжским басом отвечал:

— Он поднимает пар, даст полный вперёд и приходит вовремя к пункту назначения.

После этого, скинув бушлат, Иван хватал лопату и прыгал к раскоп. Там он сам себе командовал «Майна!» и начинал копать с невероятной скоростью. Прах летел из-под лопаты. Камни, коровьи челюсти, земля, керамика — все выбрасывалось па-гора, в отвал, неудержимым потоком. Просматривающий только увёртывался от летевших в него комков. Железная Сирена вопила во весь голос, но Иван не обращал на неё никакого внимания. Ноги его были широко расставлены, мускулы вздымались на широкой груди под рваной тельняшкой, руки работали мерно и сильно, как рычаги паровоза. Минут через двадцать Сирена Авдеевна сдавалась, и Иван снова начинал работать нормально.

Мы с Шурой да и другие участники монгайтовского движения испытывали некоторые угрызения совести, подумывали, не рассказать ли нам обо всем профессору. Но уж очень он ценил «тщательность», педантичность и строгость Сирены Авдеевны — качества, которых сам был начисто лишён. Да и сама Сирена Авдеевна так нам досадила, что не хотелось отказать себе в удовольствии понаслаждаться мстостью. Однако работы, хотя и черепашьям шагом, и то в основном стараниями Ивана, все же продвигались вперёд. Раскоп очень медленно углублялся.

Как-то, оглядывая профиль раскопа и разбивая комки земли на квадрате, я обратил внимание на то, что изменился характер строительного мусора в земле. До определенного уровня он состоял из обломков кирпича и щебенки, а ниже — из обломков камня и каменной крошки. Я сказал об этом Сирене Авдеевне, но она сердито мне ответила:

— Опять вы отвлекаетесь от дела. Снова забыли, что нужно работать тщательно!

Однако она меня хотя и обескуражила, но не убедила. В свободное время я осмотрел профили раскопа по всем квадратам и убедился, что строительный мусор изменился всюду.

Я поделился этим наблюдением с Шурой, и мы вместе осмотрели все четыре раскопа: всюду на определенном уровне кирпичная щебенка сменялась камнем. Тогда после долгих колебаний я решил нарушить субординацию и обратиться прямо к профессору, хотя это и было нам строжайше запрещено Сиреной Авдеевной.

Дождавшись, когда профессор пришёл на наш раскоп, я бросил лопату, вылез наверх и под ледяным взглядом Сирены Авдеевны все рассказал ему.

Профессор молча слез в раскоп, взял лопату, прошёл по всему раскопу, зачищая профиль и разбивая комки земли под ногами. Потом он вылез и так же молча ушёл на другие раскопы. Озадаченный, я пропустил мимо ушей язвительный выговор, сделанный мне Сиреной Авдеевной, и взялся за лопату. Но через полчаса профессор снова появился у нас. Тем напряжённым от сдержанного волнения голосом, который мы привыкли слышать на лекциях, он сказал:

— Остановить работы. До 1478 года Новгород Великий был независимым. Существовала замечательная школа новгородских архитекторов и зодчих. Они строили дома в соответствии с вековыми традициями из местного камня. Московский князь Иван Третий разбил новгородское ополчение, разогнал вече, включил Новгород в состав Московского государства. Новгородская республика исчезла, зато укрепились могущество и сила всей Руси. «Город дум великих, город буйных сил, Новгород Великий тихо опочил». В Новгород приехали новые хозяева — московские бояре и приказные дьяки. Они всё стали переделывать на свой лад. Строить тоже стали по-московски — из кирпича. Там, где в культурном слое камень сменяется кирпичом, — граница вольности Великого Новгорода. Ниже этой границы — вольный Новгород, выше границы — Новгород, вотчина московских князей. И эту границу открыли ваши товарищи...

Тут он назвал наши с Шурой фамилии. Я почувствовал, что ноги у меня приросли к земле, стали какими-то ватными, а дыхание перехватило. Я знал: пусть будет что угодно, сто Сирен Авдеевн, сколько угодно самой тяжёлой землекопной работы — я буду археологом. Ради этого стоит вытерпеть все, ради этого и стоит жить на свете.

Встретившись глазами с Шурой, я понял, что и он охвачен теми же чувствами. И, когда через несколько дней из земли медленно показались огромные дубовые плахи мостовых, которыми была замощена торговая площадь, мы восприняли это как награду за первый месяц тяжёлого труда. Тут пригодилось и умение копать, и делать сверхтщательную расчистку — результат великого монгайтовского движения.

Массивные поперечные плахи — тесины из темно-коричневого дуба — скреплялись продольными лагами. Во влажной, полной органических солей почве Новгорода мостовые сохранились изумительно. Топор звенел и отскакивал от несокрушимых плах. Мостовые казались вечными. Но увы, это было не так. Стоило плахам пролежать на открытом воздухе под лучами солнца три-четыре часа, как они начинали высыхать, коробиться и в конце концов превращались в труху. Чтобы предотвратить это разрушение, приходилось сразу лее после расчистки заливать мостовые формалином. Я этим и занимался, не без некоторых, однако, неприятных воспоминаний. Нашли своё объяснение и коровьи челюсти, и другие плоские кости, которые в изобилии попадались на раскопе. Под каждым ярусом мостовых они лежали ровным плотным слоем. В зыбкой, болотистой почве Новгорода мостовые быстро выходили из строя. Чтобы укрепить почву и предохранить мостовые от гниения, со всех новгородских боен свозили кости животных, выбирая для удобства самые плоские и прочные, а такими и были прежде всего коровьи челюсти. Их подкладывали в качестве фундамента под мостовые.

А вот и новое открытие: на соседнем раскопе открыли водопровод. Впрочем, впоследствии ряд археологов утверждал, что это был водоотвод. Но для моего рассказа это не столь

существенно. Круглые деревянные трубы на стыках скреплялись слоем бересты. Отстойниками служили большие дубовые бочки. Вода шла самотёком к княжескому двору из лежащих выше ключей. Когда мы приложили ухо к трубе, то услышали журчание воды. Водопровод был построен в XI веке. С тех пор прошли многие сотни лет. Давно исчез княжеский дворец, изгнан был князь из Новгорода. Над водопроводом выросла пятиметровая толща строительного мусора. А вода все текла и текла. Она тихо журчала и пела о далёких, давно ушедших временах. В скользкой тёмной трубе мы проделали маленькую дырочку, вставили в псе соломинку и по очереди пили холодную, чистую влагу.

На мусульманском Востоке есть поговорка: «Кто попробовал воду из Нила, будет вечно стремиться в Каир». Может быть, это и так. Но твёрдо я знаю одно: кто пил воду из новгородского водопровода, раскопанного тогда нами, тот навсегда стал археологом. Мы твёрдо выбрали свой путь и не променяли его ни на какой другой.

## ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

Первый в своей жизни Открытый лист я получил после нового сезона полевых работ Новгородской экспедиции. В Открытом листе было написано, что он выдан Институтом истории материальной культуры Академии наук СССР (так тогда назывался наш Институт археологии) т. Фёдорову Г. В. на право производства археологических раскопок курганной группы у села Деревлево, Московской области.

Далее следовало, что на основании соответствующего постановления Совета Народных Комиссаров СССР всем органам советской власти, государственным и общественным организациям и частным лицам надлежит оказывать всемерное содействие т. Фёдорову в интересах науки к успешному выполнению возложенных на него поручений.

Это был уже второй «наш» — студенческий Открытый лист. Первый получил Шура. Но мы ещё никак не могли к ним привыкнуть.

Когда мой Открытый лист рассматривали товарищи, я, делая по возможности равнодушное лицо, занимался разными делами. Зато дома я то и дело вынимал его из стола, якобы для того, чтобы определить степень моих полномочий и убедиться в правильном оформлении, хотя давно уже знал наизусть каждую строчку этого знаменательного документа.

В раскопках курганов мне уже приходилось принимать участие. Под руководством нашего профессора мы раскапывали курганы у села Салтыковка; под началом Шуры я работал землекопом на раскопках курганов у села Черёмушки, среди довольно густого леса, там, где сейчас находится Юго-Западный район столицы.

Уже не один десяток курганов перекопал я своими руками и все же теперь очень волновался. Одно дело принимать участие, в раскопках, другое дело — ими руководить. Я снова перечитал книги о курганах вятичей, радимичей и других восточнославянских племён.

У села Деревлева мы обнаружили около полутора десятков курганов. Это были классические подмосковные средневековые курганы. Насыпи имели форму полушария, вокруг подножия кургана ровик и небольшая перемычка — словом, все как надо. И все же меня мучили сомнения, делиться которыми, я, как руководитель раскопок, не считал возможным даже со своими товарищами. Впрочем, с Шурой я все же делился.

— Шура, — начинал я, — а вдруг это не курганы?

— А что это, по-твоему? — Лениво отвечал Шура.

— Ну, просто кто-нибудь насыпал холмики земли.

— Вот именно просто, специально, чтобы нас обмануть.

— Ну хорошо, — не сдавался я. — А если эти курганы насыпаны в память погибших где-нибудь на чужбине? Ты ведь знаешь, такие курганы сооружали. Тогда они совершенно пусты.

— Знаешь что, — отвечал Шура, — не морочь голову. Если все они погибли на чужбине, то кто же соорудил для них эти курганы и кому нужны были памятные курганы, если все где-то погибли? Отстань!

После таких разговоров мне становилось легче, и я чувствовал себя увереннее.

Наконец наступил день начала раскопок. В рабочих руках недостатка не ощущалось. Все мои товарищи, студенты-археологи, в том числе и Шура, который до этого был начальником раскопок на другой курганной группе, превратились в землекопов.

Доехав на автобусе до конечной остановки, мы долго ещё месили ногами грязь по глинистому просёлку, нагруженные нехитрым нашим снаряжением. Когда мы, наконец, добрались до курганной группы, пошёл мелкий морозящий дождь. Была поздняя осень, и было ясно, что дождь зарядил надолго. Посоветовавшись, мы решили считать, что дождя нет.

План курганной группы мы сняли заранее, измерив и пронумеровав курганы. Теперь же, до того как приступить к раскопкам, нужно было найти место, где можно было бы хранить инструменты да и самим погреться и перекусить. Впрочем, выбирать не приходилось. Курганная группа была расположена довольно далеко от села. Возле неё стояла только одна изба с покосившимся плетнем, окружающим пустой, перекопанный уже огород. Туда мы и направились. На стук никто не отозвался. Когда мы все же отворили дверь и вошли, из-за дощатого почерневшего стола навстречу нам поднялся тощий старик в косоворотке, с бритым подбородком и огромными усами. Усы были пышные и вислые, как у Тараса Шевченко. Кончики их почему-то позеленели, только под носом сохранился их природный рыжий цвет, а так усы были совершенно седые.

Старик хмуρο поглядел на нас и проворчал:

— Молока нету. И вообще не мешайте мне радио слушать.

Действительно, в красном углу висела чёрная тарелка репродуктора, откуда слышались почти до неузнаваемости искажённые звуки оперы «Иван Сусанин».

— Здравствуйте, дедушка, — возможно более вежливым тоном сказал я. — А нам и не надо никакого молока. Мы на минутку. Мы студенты из Москвы. Будем тут поблизости курганы раскапывать. Можно к вам заходить погреться и лопаты на ночь оставлять?

— Нет. Нельзя! — Быстро и категорически ответил дед.

— Почему же? — Искренне удивился я.

— Нельзя, и всё тут! — Так же быстро сказал дед. — Мне от вас одно беспокойство, да и картошку на огороде всю перекопаете. Знаю я вас!

— Дедушка, — ответил я, начиная злиться, — никакого вам беспокойства не будет. А картошка у вас уже вся выкопана.

— Вот, вот, я и говорю, — закипятился дед, — уже примеривались на огород. «Выкопана, выкопана»! А может, там на корнях ещё клубни остались? Я человек старый — недоглядел. Уходите, и всё тут!

— Да вы нам просто обязаны помогать, если на то пошло, — зло сказал я. — Вот, посмотрите! — И протянул деду Открытый лист.

Дед нехотя взял лист, надел, предварительно протерев полую рубахи стекла очков в тусклой железной оправе, и долго читал, с сомнением подымая низкие брови. Прочитав, он сдвинул очки на кончик носа и, глядя поверх них, сказал мне:

— Не подходит. Не по форме бумага.

— Как это — не по форме?

— А вот так и не по форме. Село указано, а фамилиё моё нет. Вот пусть Совнарком мне напишет, тогда другой разговор...

А, черт бы его побрал! С трудом сдерживаясь, я повернулся и пошёл к двери. Придётся теперь тащиться до самого села.

В это время мой товарищ Миша, который, несмотря на молодость, имел уже обширные познания в археологии и очень не любил, когда последнее слово оставалось не за ним, бросил на меня умоляющий взгляд. Тогда я, уходя, процедил:

— У вас, дедушка, не усы, а прямо ирландский флаг!

— Стой! — Неожиданно рявкнул старик ефрейторским голосом. — Что это за ирландский флаг такой?

— Есть такая страна — Ирландия, — сдержанно объяснил я. — Так вот, у них флаг таких же цветов, как ваши усы, — зеленый, белый и оранжевый.

. — Вот как! — Сказал старик, неожиданно смягчаясь. — Вижу: вас, паршивцев, в университете чему-то научили. Так не будете картошку выкапывать?

Мы клятвенно заверили, что не будем.

— Так и быть. Десять рублей в день будете платить, — сдался наконец старик и важно представился: — Николай Прокофьич Деревлев, колхозный сторож в отставке!

Мы с облегчением положили в сени наши припасы, хотя расход на помещение и не был предусмотрен сметой. Взяв только самое необходимое, мы отправились было на курган, но Николай Прокофьич тут же остановил меня:

— Подожди-ка ты, начальник! Вот ты мне объясни, что это там по радио передают?

Я коротко рассказал ему содержание оперы, особенно нажимая при этом на патриотизм Ивана Сусанина, надеясь, что этот пример вдохновит старика на помощь родной науке, но он и ухом не повел.

— Да, вот так, — задумчиво сказал Николай Прокофьич, когда я кончил. — Теперь много таких находят, которые ещё с древности за советскую власть стояли!

Спорить с ним было некогда и неохота, и мы быстро пошли на курганы.

Раскопки небольших средневековых деревенских курганов — дело нехитрое, но очень интересное. При похоронах покойников клали обычно прямо на землю или на дно небольшой

ямы, на спине в вытянутом положении, с запада на восток. У христианских народов это связано с таким поверьем: когда придёт мессия, а он появится с востока, откуда восходит солнце, мёртвые восстанут из могилы. Вот их и клали в таком положении, чтобы они восстали без излишних затруднений прямо навстречу спасителю. Поэтому при раскопках бровку — нетронутый слой земли толщиной пятьдесят сантиметров в насыпи кургана — отмеряют с севера на юг — перпендикулярно захоронению. Бровка нужна, чтобы получить полный профиль насыпи, определить её структуру и размеры. Обычно копают насыпь по обе стороны бровки одновременно. Это нужно для того, чтобы определить, как делали насыпь, имеются ли в пей перекопы, остатки каких-либо надмогильных сооружений. Иногда в насыпи находят остатки стрawy — поминального пира, который был широко распространён у славян. Иногда обнаруживают и впускные погребения, то есть погребения, сделанные в насыпи, уже после того как совершено основное захоронение.

Мы начали копать сразу несколько курганов. Кроме землекопной работы, все участники экспедиции имели и другие обязанности. Один вел дневники раскопок, другой снимал план и профиль кургана, третий составлял опись находок. Вскоре в насыпи стали попадаться обломки средневековых славянских горшков с орнаментом из поясков горизонтальных или волнистых углублённых линий. Значит, курганы, безусловно, средневековые. На этот счёт я мог уже не волноваться.

Однажды я заметил, что на одном кургане работает совершенно неизвестный мне мальчик лет пятнадцати—шестнадцати. Мальчик был невысокий, с ярко-рыжими, густыми, невероятно растрёпанными волосами. Он появился совершенно неожиданно, прямо как гриб подосиновик вырос из-под земли.

Я подошёл к нему и спросил:

— Ты кто такой?

Не переставая быстро копать, мальчик ответил:

— Археолог!

Ах, вот оно что! Мы, студенты с двухлетним стажем полевых работ, ещё только мечтаем о том, чтобы стать археологами, а этот шпингалет уже называет себя археологом. Ловко! От его наглости я прямо онемел.

В это время Миша, слышавший наш разговор, не без надменности сказал:

— А чем, собственно, молодой человек, вы можете это доказать?

Мальчик, также не переставая копать, односложно ответил:

— Работой!

Мы оценили ответ. Но Миша, не сдаваясь, спросил:

— Ну, а как в смысле теоретических познаний?

Мальчик разогнулся, опёрся на лопату и ответил:

— Я знаю семь заповедей археолога. И тут же стал быстро перечислять: — Орудие археолога — лопата; лучший друг археолога — пожар; мечта археолога — могила; клад археолога — помойка...

— Хватит! — прервал его изумлённый Миша. — Как вас зовут и откуда вы это знаете?



— Зовут Ростиком, — быстро ответил мальчик, — а знаю из занятий школьного археологического кружка.

Вот так номер! Ведь эти шуточные семь заповедей археолога мы сами придумали и очень ими гордились. «Лучший друг археолога — пожар». Да. При пожаре деревянные вещи, зерна обугливаются, не поддаются гниению и потому сохраняются веками.

«Мечта археолога — могила». В древности люди клали вместе с умершими в могилу сосуды с пищей и питьём, инструменты, украшения — все, что должно было пригодиться покойнику на пути в «потусторонний мир». В могильных ямах эти вещи и сосуды иногда много столетий или даже тысячелетий сохранялись целыми.

«Клад археолога — помойка». В мусорные ямы бросали сломанные, старые вещи: скажем, горшок, у которого отбилась дно. Для употребления этот горшок был уже негоден, а вот археологу очень легко склеить дно и тулово горшка, полностью восстановить его форму. Это не то что при раскопках поселения, где чаще всего находятся мелкие обломки, да ещё разбросанные на большом расстоянии друг от друга и на разных глубинах.

Эти и другие азбучные для археологов истины мы и сформулировали в виде нехитрых семи заповедей. А оказалось, что какие-то школьники — мальчишки из археологического кружка — их уже взяли на вооружение. Во всяком случае, одно было бесспорно — Ростик имел право заниматься археологией. Скажу кстати, что это своё право он, теперь уже известный учёный, не раз подтверждал гораздо более значительными знаниями, чем знание «семи заповедей»...

Вот наконец и первое погребение. Сначала показался череп, через некоторое время — по другую сторону бровки — кости ног. Мы тщательно вычертили профиль насыпи, накрыли открытую уже часть скелета газетами и присыпали землей, чтобы случайно не разрушить, и разобрали бровку. После этого снова сняли газеты и принялись тщательно расчищать скелет и землю вокруг него.

Высокий рост, мощный подбородок, почти квадратные глазницы указывали на то, что это мужчина. У бедра его лежал нож, кремь, у правого плеча — несколько железных ромбовидных наконечников стрел, на бедрах — овалы медные бляшки, каждая с двумя небольшими шпеньками. Ясно, что бляшки набивались на кожаный пояс. Ура! Значит, это все-таки воин, и воин, вовсе не погибший на чужбине!

Стрелы — редкая находка в подмосковных курганах. Обычно здесь похоронены мирные люди — деревенские хлеборобы.

А вот и, безусловно, женское погребение. Возле черепа — знакомые по раскопкам в Салтыковке и Черёмушках — медные семилопастные височные кольца вятичей. На пальцах обеих рук — перстни с синими и зеленоватыми стёклами в щитках; на руках — браслеты из перевитой проволоки, возле шеи — рассыпавшаяся низка бусин из темно-красного камня — сердолика — и прозрачного хрустала. Богатые украшения для крестьянки!

Ростик, низко склонившийся над погребением, похожий на ищейку, вынюхивающую след, негромко и коротко сказал:

— Двенадцатый век. Вятичи.

Верно и то и другое. Сердоликовые бусины имеют форму двух сложенных основанием пирамид. Они так и называются у археологов — бипирамидальные. Эти бусы, как выяснено нашими учителями в археологии, особенно характерны именно для русских славян и именно для XII века.

Из всех четырнадцати восточнославянских племён — предков русского, украинского и белорусского народов — вятичи, которые, по свидетельству летописца, сидели на Оке и её притоках, были в некоторых отношениях самыми упрямыми и консервативными. Христианская церковь запрещала хоронить умерших с вещами и под курганными насыпями. Но вятичи долго не подчинялись этому запрету и продолжали хоронить своих умерших по древним языческим обрядам. Поэтому в земле вятичей и можно встретить богатые захоронения со многими вещами, в курганах, относящиеся даже к XIV веку.

Сопrotивление вятичей канонам христианской церкви сослужило неоценимую услугу археологам. Благодаря ему обнаружено множество вещей, позволяющих судить о жизни и хозяйстве наших предков.

Почти каждый день раскопок приводил к открытию все новых и новых погребений, и мы становились владельцами большого количества вещей, очень важных для изучения развития ремёсел и сельского хозяйства у вятичей. Конечно, все это были только маленькие камешки из того могучего гранитного фундамента фактов, на котором наука воздвигает своё знание о прошлом нашего народа, но все-таки эти камешки были из настоящего гранита.

И мы все были счастливы, как могут быть счастливы только археологи на удачных раскопках. Частые дожди и холодный ветер не смущали нас. Беспокойство доставлял только Николай Прокофьич, с которым мы поневоле должны были общаться, когда брали или оставляли инструменты или заходили в избу погреться и перекусить.

Николаю Прокофьичу не нравилось, что мы выкапываем человеческие скелеты, он требовал повышения платы и в избу нас с черепами не впускал. Кроме того, он все время ворчал на нас, говорил, что мы его дурачим, что на самом деле мы ищем золото. Сто раз я объяснял ему, для чего ведутся раскопки. Николай Прокофьич только упрямо мотал головой. Меня-то он вообще ни в грош не ставил, впрочем, и другие члены нашей экспедиции не пользовались его благосклонностью. С уважением он относился только к Мише, может быть, из-за его рыжей бороды и способности говорить внушительно и солидно. Однако Мише он тоже не верил.

— Знаю, знаю, — ворчал он в ответ на наши объяснения, — всяким поганством вы можете заниматься, а меня, старика, вам не одурачить. Молоды ещё. А вот дед мой сказывал: в этих валках француз золото закопал, когда с Бонопартой из Москвы драпал. Вот вы его золотые клады и ищите. Дознались по старым книгам, вот и ищите. А то — история! Знаю я вашу историю! Будет государство на такую ерунду деньги тратить!

Когда я попытался разубедить деда, он, хитро прищурившись, сказал:

— А вот давай условимся: найдешь золотой клад — мне половину. В порядке гостеприимства. Идёт?

— Дедушка, — ответил я, — ты же читал Открытый лист. Все, что мы находим, принадлежит государству. Мы все сдаем в Академию наук. Понятно? И нет здесь никаких золотых кладов!

— Нет? Вот оно как! — ехидно отвечал дед. — А что же ты боишься условиться, чтобы мне половину? Не обманешь! Не таковский старый солдат!

Надоел он мне этими разговорами ужасно. Очень хотелось бросить его избу, но выхода не было. И я решил пообещать ему, как он хотел, половину золотого клада, если мы найдем его. Я знал, что ничем не рискую. В бедных крестьянских погребениях неоткуда было взяться золоту, да ещё целому золотому кладу.

После того как я дал обещание, Николай Прокофьич ежедневно стал ходить на раскопки и даже частенько, кряхтя и время от времени потирая спину, брался за лопату.

Раскопки курганной группы подходили к концу.

В холодный, но погожий ясный день, когда Ростик вскрывал насыпь последнего кургана, лопата его неожиданно звякнула, и с неё посыпалось что-то ослепительно сверкающее. Мы все кинулись к кургану Ростика, который уже расчищал находку кисточкой и ножом.

Это «что-то» оказалось раздавленным свинцовым горшком, полным разнокалиберных новеньких серебряных монет. Вот на одной монете блеснул гордый и сильный профиль Петра Великого, на другой развернула пышные плечи Елизавета.

Монет оказалось около трёхсот: рубли, полтинники, полуполтины. Большой клад! Все монеты XVIII века. Что за черт! Как попали они в курган, сооружённый в XII веке? Каждая монета сама по себе не очень интересна, их сколько угодно в любом музее, но, может быть, в целом по кладу можно будет что-нибудь узнать?

Мы собрали все монеты и остатки свинцового горшка и отнесли их в избу к Николаю Прокофьичу, который с минуты обнаружения клада буквально места себе не находил.

— Ну, ты, начальник! — кричал мне старик. — Условие помнишь? То-то! Я все знаю! Половину клада мне!

— Да что вы, дедушка, — отвечал я несколько смущённый, — ведь я же вам говорил: все, что мы находим, принадлежит государству. Вот сейчас Миша составит опись всех монет, а потом мы все сдадим в Академию наук. Я же шутил тогда!

— Я тебе покажу — шутил! — кипятился Николай Прокофьич. — Уговор дороже денег! Не выйдет!

— Нет, выйдет! — Неожиданно вмешался Ростик. — Уговор был насчёт золотого клада, а здесь все монеты серебряные, золотой ни одной нет.

— Ах, черти! — Схватился за голову Николай Прокофьич. — Обманули старика, обвели, бесстыдники!

Спорить с ним было бесполезно. Пока мы приводили в порядок дневники и чертежи, описывали клад и говорили о нем между собой, Прокофьич только вздыхал, бросая на нас укоризненные взгляды.

Мы задержались до позднего вечера. Закончив возиться с кладом, я сказал старику:

— Ну вот, дедушка, теперь каждая монета описана. Кроме того, кое-что можно сказать и о человеке, который закопал клад, в порядке научной гипотезы, конечно. Хотите, расскажу?

В ответ Николай Прокофьич горестно махнул рукой и пробормотал:

— И сколько лет я под боком с этим кладом жил и не раскопал! Надо же! Враки все эти твои потезы! Одни надсмешки над стариком строишь!

— Нет, уважаемый Николай Прокофьич, — с достоинством ответил за меня Миша, — вовсе не враки. А если бы мы и предполагали, как вы изволите выражаться, строить над вами надсмешки, вряд ли бы только для этого потратили так много времени.

Я сказал:

— Клад закопал крестьянин в 1757 году. Когда клад был закопан, крестьянину было лет сорок — сорок пять. Собирал он этот клад больше двадцати пяти лет и с каждым годом богател. Скорее всего, он был одиноким, как вы. Крестьянин был мобилизован в армию, воевал с

немцами и был убит.

— Враки, ой, враки! — все так же горестно сказал Николай Прокофьич. — Мало того, что клад отобрали, так ты ещё враки свои заставляешь слушать. Ну, вот скажи, — тут Прокофьич немного оживился, — почему это его закопал крестьянин?

— От Москвы до Деревлева расстояние порядочное, — ответил я. — Каких-либо следов древнего города здесь нет. А вот деревни издавна были. Значит, и закопал местный житель — крестьянин. Москвич спрятал бы клад где-нибудь у себя во дворе или в доме, а не потащил бы за тридевять земель на древнее сельское кладбище. Да и сумма не особенно большая — двести с небольшим рублей. Для крестьянина в то время это и правда было целое состояние — четверть ржи тогда стоила не больше рубля.

— Ну, положим, — заинтересованно сказал старик. — А почему клад закопан в 1757 году?

— Самые поздние монеты в кладе чеканены в 1757 году.

— Ага, — протянул Николай Прокофьич. — А почему крестьянину было лет сорок — сорок пять, когда он закопал клад?

— В кладе монеты от 1725 года до 1757 года. Конечно, и сейчас и тогда ходят монеты разных годов чеканки. Только в этом кладе монеты каждого года чеканки от 1725 до 1757. Ни один год не пропущен. Это не коллекция — иначе бы её не закопали. Это сбережения, которые откладывались каждый год — с 1725 до 1757 года. Когда мог начать откладывать сбережения крестьянин? Когда стал взрослым. Вряд ли раньше лет восемнадцати — двадцати. А монеты он откладывал двадцать семь лет. Вот и считайте.

— Так, так, так, — быстро пробормотал Николай Прокофьич и тут же спросил: — А почему он с каждым годом богател?

— Монет каждого года чеканки чем позже, тем больше. Монет 1725 года всего на полтора рубля, монет 1726 года — на три с половиной, 1727 — на пять рублей, а монет самого последнего года — 1757 — больше чем на восемнадцать рублей, — показал старику Миша.

— А почему он одинокий? — стараясь не дать опомниться, спросил Николай Прокофьич.

Но нас уже не так-то легко было сбить с толку.

— Иначе оставил бы деньги семье или сказал бы, где закопаны, когда уходил на войну, — тут же сказал я.

— А почему он пошёл на войну, почему его убили, почему воевал с немцами? — В азарте закричал старик.

— Клады чаще всего закапывают во время нашествия врагов и войн, — спокойно ответил Миша. — До 1757 года, когда был закопан клад, в Подмосковье да и вообще в России была тишина. Ни один вражеский солдат не был в это время в нашей стране. Что же могло заставить человека спрятать в землю все, что он накопил больше чем за двадцать пять лет? В 1757 году Россия вступила в Семилетнюю войну с Пруссией. В тот год в Пруссию были посланы не только гвардейские, но и армейские полки. Солдаты для армии набирались из Московской, Нижегородской, Владимирской и других центральных губерний. По возрасту крестьянин вполне подходил для призыва в армию. Трудно представить себе какую-нибудь другую причину, заставившую его именно в этом году закопать клад. Русские войска разгромили наголову «непобедимую» армию Фридриха Второго, взяли в 1760 году столицу Пруссии Берлин и со славой вернулись домой. А клад — всё, что так долго копил крестьянин, — так и остался невыкопанным. Значит, он погиб в бою с немцами — пруссаками, а то бы

обязательно выкопал.

— Истинно, истинно так, — тихо сказал старик и почему-то перекрестился. — Господи, помяни душу убиенного от поганных немцев раба твоего, моего односельчанина, вот только имя не ведаю.

— Нет, Николай Прокофьич, — ответил Миша, — наверное, так, но не истинно.

— Да что ты мне городишь! — сердито завопил старик. — Сами же все как есть изъяснили. Так и было, и баста, и молчи!

— Да нет, Николай Прокофьич, — упрямо отозвался Миша. — Так могло быть. Трудно по-другому все объяснить. Так скорее всего и было. Но прямых и полных доказательств у нас нет. Это и называется научная гипотеза.

— Да-а, вот так, — неопределённо протянул старик и сейчас же куда-то ушёл.

Его не было так долго, что мы уже решили отправиться домой, оставив записку, как вдруг старик вошёл в комнату, таща в руках большой чугунок и пыхтя от натуги. Он поставил чугунок на стол и торжественно сказал:

— Откушайте, гости дорогие, своими руками вырастил и накопал.

Чугунок был полон дымящейся, горячей, свежесваренной картошки.

Пока мы, безмерно удивлённые, перемигивались, усаживались за стол, старик откуда-то из-за печки достал мутную бутылку с самогонем и большой кусок сала, с которого он ножом аккуратно счистил верхний серый слой, и нарезал сало маленькими ломтиками. Но мы отказались с ним пить. Николай Прокофьич не настаивал и налил сам себе. Подняв стопку, он торжественно провозгласил:

— За науку эту вашу самую, никак не выговорю, как её назвать! Учитесь, ребята! Большое дело — ученье!

Через некоторое время Николай Прокофьич изрядно захмелел, и тут его вредная натура снова начала брать своё.

— А вот ты мне скажи, — прищурившись, обратился он к Мише, — а какой в Москве последний извозчик? А?

— Да в Москве вообще нет извозчиков, — с деланным недоумением отозвался Миша, — откуда я могу знать, кто из них был последним?!

— А вот и врешь! — радостно завопил старик. — Ты учёный, а не знаешь, а я не учёный, а знаю. Последний извозчик в Москве на театре стоит, четвёркой каменных коней управляет. Я сам видел! Вот как!

Старик пришёл в такой восторг, что больше уже ни разу не плакался по поводу своих упущенных возможностей с кладом.

Через несколько дней мы закончили раскопки Деревлевской курганной группы и с облегчением навсегда покинули избу Прокофьича. Вскоре я засел за первый в жизни отчёт об итогах раскопок.

А клад? Его судьба началась с одной войны — Семилетней, которая была в XVIII веке, а кончилась с другой войной — в XX веке.

Когда началась Великая Отечественная война, клад уже давно был самым тщательным образом описан и хранился на нашей кафедре археологии в университете. Научной ценности сами монеты не представляли, зато они составляли довольно большой вес высокопробного серебра.

По общему решению, клад был сдан в фонд обороны и сослужил свою службу уже в этой войне.

## В ЛЕСНОМ СЕЛЕ

Более двадцати лет назад, летом, археологическая экспедиция Академии наук СССР, в состав которой входил и я, тогда ещё студент, приступала к раскопкам древнерусского города в лесной полосе Южной России. На месте городища находилось небольшое село. Мы увидели его, выбравшись из нескончаемого, казалось, леса. На высоком холме стояли рубленые избы. Неширокая река плавно огибала подножие холма. Внизу в долине раскинулись поля. Вокруг со всех сторон темнел вековой лиственный лес.

Лошади по крутой разбитой дороге подтащили к околице подводы, скрипящие от тяжести экспедиционного оборудования. Замолкли шутки и болтовня, которые не прекращались до этого все время.

Я заметил, что мой товарищ и однокурсник молчаливый черноволосый Володя незаметно озирается. Он оглядывал все вокруг каким-то настороженным и даже чуть угрюмым взглядом. Я догадался, почему он так озирается: я и сам испытывал, вероятно, те же чувства. Неужели здесь, на этом холме, под маленьким неказистым селом находится один из чудных городов, которые на первом месте упоминал древний поэт, воспевая «светло светлую и украсно украшенную землю Русскую»? Где же они, хоть какие-нибудь приметы древнего города?

Прозрачна и чиста огибавшая холм речка. Она совсем мелкая. Как несла она на себе корабли, нагруженные золотыми и серебряными украшениями и драгоценными тканями из причерноморских городов?

Впрочем, река могла обмелеть за тысячу лет. Но как здесь, в этой страшной лесной глуши, мог раскинуться шумный город, столица целого княжества, не раз упоминавшийся в летописи? Славный город, из-за обладания которым так часто ссорились и воевали беспокойные черниговские князья! Неужели он здесь? И неужели мы все-таки отыщем его?

Перед выездом в экспедицию мы ещё раз проштудировали все упоминания о нем в летописях. Разведка, направленная сюда начальником экспедиции, обнаружила на холме культурный слой, то есть слой, в котором находятся древние остатки вещественной деятельности человека. И все же сомнения и тревога, даже какая-то щемящая тоска одолевали нас...

С тех пор прошли многие годы. Я работал на десятках различных древних поселений, но каждый раз, когда впервые видел место, где предстояло работать, меня снова и снова охватывали сомнения и тревога, как и тогда, когда неопытным студентом стоял я на вершине холма у околицы лесного села. Теперь я твёрдо знаю, что если, принимаясь за раскопки, я когда-нибудь не испытаю этих чувств, — значит, всё, значит, конец мне как археологу. Потому что без тревоги, без надежд нет научного поиска. Не бывает. Ни поиска, ни постижений.

Но тогда мы ещё не знали этого, и нас охватила тоска.

С надеждой взглянул я на начальника экспедиции — нашего учителя, того, кто должен был вести нас по следам истории. Сейчас он уже академик, знаменитый учёный, его труды переведены на многие языки. А в то время он был ещё молодым, тридцатилетним доцентом. Впрочем, для нас он и тогда служил живым воплощением нашей чудесной науки. Он обладал необыкновенным даром восстанавливать далёкое прошлое так, что оно становилось зримым, осязаемым, живым, полным красок, огня, ароматов, звуков, бьющейся плоти. Я хотел, чтобы он ободрил меня. Но он молчал, и я с горечью уловил в его взгляде отражение того же тревожного и щемящего чувства.

У въезда в деревню я посторонился, пропуская встречную телегу, и внезапно замер перед воскресшим видением. На примятом, ещё не высохшем сене сидела молодая женщина в старинном русском национальном костюме и, не торопясь, со вкусом ела большое желтоватое яблоко. На ней было льняное белое, вышитое на груди и на рукавах платье-рубаха, шерстяная в клеточку понёва, на голове — красный, расшитый бисером кокошник, до плеч свисали нарядные лалы[2].

Посмотрев на меня, «видение» рассмеялось, приветливо сказала: «Здравствуйте!» — и бросило мне яблоко, которое я самым глупым образом не успел поймать. Видевший эту сцену начальник экспедиции улыбнулся:

— Ну что ж, быть Вам нашим интендантом!

Я сердито посмотрел на него.

Экспедиция въехала в село. Все или почти все женщины в этом селе носили домотканую русскую одежду, а мужчины одевались в вышитые рубахи-косоворотки. Казалось, мы попали в чудом сохранившийся уголок древней Руси, к людям, о которых столько читали, вещи которых так внимательно изучали, а теперь нежданно-негаданно увидели воочию.

Без труда сняли две избы для жилья. Начальник экспедиции послал меня на поиски поварихи. Дело не клеилось. Пора была страдная, все были заняты в поле. Наконец одна старушка, которую все звали Семёновной, посоветовала мне:

— Вон, видишь, миленький, изба? Сходи-ка туда, спроси Стешу Шатрову. Для поля она слабая, всё только в дому хлопочет. А вам много ли надо? Сготовь, подай, убери. Это она сдюжит. Баба совестливая!

Я очень обрадовался, повернулся и пошёл к избе, указанной старухой, но она окликнула меня:

— Погоди-ка, миленький!

— Что, бабушка? — нетерпеливо спросил я.

Старуха мялась и ничего не говорила. Я, заподозрив подвох, уже раздражённо сказал:

— Ну что? Или уж говори прямо: больна она? Готовить не умеет?

— Что ты, что ты! — воскликнула старуха. — И готовить мастерица, и вовсе не больная. Так, слабая. — И, помявшись, с огорчением добавила: — А ты-то прыткий какой! Сказать ничего нельзя! Ведь я — жалеючи тебя. Человек, вижу, служивый, работать приехал! Она из себя неладная, — решила наконец старуха и посмотрела на меня сердито, будто я в чем провинился, — с души воротит... Дурнушка, одним словом.

— И все? — Посмеиваясь про себя, перебил я бабку. — А готовит она как?

— Сказано тебе: мастерица! Да ведь я не про то. Беспонятный ты какой! — И мне показалось, что старуха окончательно рассердилась. Но я не обратил на это внимания.

— А раз хорошо, то и ладно. Что нам до её внешности — нам с ней детей не крестить.

Через несколько минут я уже входил в избу. Худенькая женщина, стоя ко мне спиной, что-то доставала ухватом из печи. Больше никого в избе не было.

— Здравствуйте! — Поздоровался я. — Стеша Шатрова здесь живет?

— Здесь! — Тихо ответила женщина, однако не оборачиваясь. Руки её по-прежнему были заняты.

— А где ж она?

— Я Стеша, — продолжала женщина так же тихо и наконец обернулась.

И я сразу замолк. Передо мной стояла худенькая, стройная женщина лет двадцати с небольшим. Темно-русые волосы, гладко зачёсанные назад, были свиты на затылке в большой клубок. На тонком, очень бледном лице чудно светились неправдоподобно огромные карие глаза. Она была непередаваемо красива — чистой, гармонической ц странной красотой рублёвской иконы.

...Видно, уж очень пристально и изумлённо смотрел я на женщину. Она смутилась, вспыхнула, отчего стала ещё краше, слезы выступили у неё на глазах; она прикрыла лицо рукой.

— Это вы Стеша Шатрова? — Озадаченно спросил я наконец.

— Я.

Я не удержался. Не помня себя, подошёл к ней и, поцеловав её в щеку, пробормотал:

— Ну и красавица же вы!

Однако Стеша, закрыв лицо обеими руками, горько заплакала.

— Что с вами? — Испугался я. — Не плачьте! Ну что я такого сделал? Да ну, не плачьте, — утешал я её, уверенный, что она обиделась на меня за поцелуй. — Я просто никогда не видел такой красавицы... Как-то само собой получилось...

Но мои утешения нисколько не подействовали на неё. Наоборот, она ещё горше заплакала.

В это время открылась дверь, и в избу вошёл молодой, приятный, умный на вид парень, в просоленной потом белой рубахе. Он кинулся прямо к Стеше, обнял её и ласково, с беспокойством, спросил:

— Стешенька, что с тобой, кто обидел?

Я рассказал все, как было.

— Нехорошо! — Ответил мне, помрачнев, парень. — Вы человек образованный, я вижу, учёный, а над женщиной измываетесь. Разве она виновная, что такая уродилась? Да и не одна красота, что на лице. У неё душа такая, что на свете другой не найдешь. Я её ни на какую красавицу не променяю! Так что вы над жинкой моей не смейтесь, не дело это.

— Черт вас всех возьми! — Закричал я. — Вы что, с ума, что ли, все походили в этом селе?! Да Стеша и есть красавица, из красавиц красавица, неужели ж вы не видите?!



Стешу её муж утешал с гораздо большим успехом, чем я. Она перестала плакать и глядела на него с благодарностью и даже боязливой радостью. Но мои слова, вернее сказать, вопль моей души испугал или смутил её. Она спряталась за мужа, однако я успел уловить мимолётный взгляд её, и в нем было какое-то новое выражение.

А муж, задумчиво взглянув на меня, вдруг протянул руку лопаточкой и сказал без улыбки. — Фёдор Шатров. Я тоже представился. Фёдор жестом пригласил к столу:

— Садись. А ты, Стеша, поднеси-ка нам.

Стеша быстро поставила на стол початую бутылку водки, сметану, огурцы, сало, круглый деревенский хлеб. Мы выпили по стаканчику.

— Откуда приехал? — Спросил Фёдор.

— Из Москвы.

— Работать?

— Работать. Землю копать. Здесь раньше, давно когда-то, город существовал. Будем остатки его искать в земле.

— Да-а, — протянул Фёдор, — так ты говоришь, красавица?

— Ну конечно! Неужели ты сам-то не видишь?

— Город, значит, искать? Интересно... Ты, я вижу, всерьёз. Вот ведь, и хлипкая она, и глаза как тарелки, и лицо вроде извести. А знаешь, бывает, как погляжу на неё, так и глаз не оторву. Душа, думаю, её глядит. Мне одному видна. Хорошо...

— Послушай, Федя, — горячо ответил я, — это, конечно, замечательно, что у Стеши такая душа. Но разве ты не видишь, какая она красивая?

— Ладно, хватит об этом. Ты, однако, с чем пришёл? — Дружелюбно и задумчиво спросил Федя.

— В поварихи жену твою нанимать. Готовить нам нужно, для экспедиции.

— Что, Стеша, а? — Спросил Федя. — Пожалуй, иди, я все равно теперь и днем и ночью в поле.

— Не знаю, управлюсь ли? — Снова зарумянившись, ответила Стеша.

— Да чего там, — принялся я убеждать её, — у нас все запросто. В месяц будешь получать триста рублей. И питание наше. А дрова наколоть, воды принести — это тебе всегда ребята помогут. Ну как — согласна?

Стеша кивнула головой. Я обрадовался и стал торопить её, сказал, что срочно нужно принимать хозяйство. На самом деле я просто хотел скорее показать её товарищам. Кроме того, мне не терпелось, чтобы Стеша увидела, как ребята отнесутся к ней. Она с мужем так заморочили мне голову, что я уже стал чувствовать себя вроде сумасшедшим. Обо всем этом я только думал и, конечно, не сказал вслух. Подбивал я и Федю пойти с нами, но ему было некогда — и так много времени прошло. Федя взял оселок и отправился в поле. Мы же со Стешей пошли в экспедиционную избу.

Нас было восемь студентов-археологов москвичей. Восемь молодых, жизнерадостных, довольно легкомысленных, любящих своё дело, весёлых и дружных. Когда я вошёл в избу,

все уже давно были в сборе и наводили красоту в своих уголках. Я сказал: — Вот, братцы, наша новая повариха — Стеша Шатрова! — И вытащил смущённую Стешу на середину избы.

Наконец—то я получил полную компенсацию за вредную старуху и за моё мучение с супругами Шатовыми! Какой поднялся шум! Кто кричал «ура», кто с ходу начал говорить Стеше всякие незамысловатые комплименты. Её окружили со всех сторон, спрашивали о чем попало, восхищались бурно и открыто. Стеша, конечно, очень смутилась, покраснелась и чуть было снова не заплакала... Но ведь не заплакала, вот что интересно! Я смотрел на эту сцену с чувством гордого удовлетворения, как будто сам породил Стешу, и невежественные люди долго не ценили этого шедевра, но наконец прозрели и отдали дань восхищения моему творению. Так Стеша и осталась у нас работать.

Но почему же все—таки старуха Семёновна, Федя, сама Стеша и, как позже выяснилось, вся деревня считали её чуть ли не уродом? Эта загадка объяснилась быстро и просто. Большинство девушек и женщин в селе были плотными, румяными, круглолицыми, курносыми, крепкими, с маленькими быстрыми глазами. И кто был плотнее, румянее, круглолицее, у кого глаза были быстрее, та и почиталась красивее всех. Стеша же была совсем другой. Это была какая—то очеловеченная сказка о Гадком Утёнке, яркое доказательство относительности в понимании и создании идеала красоты, историзма этого понятия и этого идеала. Впрочем, мы все меньше думали о сказках, о философии и других скучных вещах. Мы гордились и восхищались нашей Стешей, все ухаживали за ней. Самые заядливые лентяи и лежебоки до седьмого пота кололи для кухни дрова и носили воду — ещё и ссорились между собой за очередь! На кухне всегда крутилось несколько человек. Мы читали Стеше книги и дарили ей всякую чепуху из наших нехитрых запасов: одеколон, конфеты, книжки, а я, например, исчерпав возможности, преподнёс ей даже свой НЗ — кружок твердокопчёной московской колбасы. Стеша пробовала отказываться от подарков, но, конечно, ничего у неё не получалось.

Начальник экспедиции и его заместитель — люди серьёзные, женатые да к тому же и приехавшие с жёнами, с завистью смотрели на нас. Начальник экспедиции все же не выдержал и под предлогом сбора этнографических материалов начал непрерывно фотографировать Стешу. После того как количество снимков достигло пятидесяти, жена начальника наконец возмутилась.

А Стеша? Стеша сначала очень смущалась и обижалась. Однако вскоре все изменилось. Она поняла, что никто над ней не смеется, что и правда все её считают красавицей. Она расцвела. Раньше Стеша была какой—то забитой, ходила все ближе к стенке, в глаза говорящим с ней старалась не смотреть, движения у неё были робкими и угловатыми. Теперь же Стеша разговаривала открыто, весело, даже сама начала шутить, — правда, по старой привычке, смущаясь при этом и краснея. Двигалась легко, плавно. Федя, когда улучал минутку и прибежал к нам с поля, только диву давался. Он, как и раньше, смотрел на неё ласково, но теперь появились в его простодушном взгляде и новые чувства: гордость, а может быть, и беспокойство. А Стеша ничуть не зазналась. Недаром Федя говорил про её душу. Она оставалась все той же скромной, тихой, милой Стешей. Мы дурачились, ухаживали за ней, но если всерьёз говорить, то относились к ней бережно и просто. А она — единственная женщина в нашей студенческой компании (начальство жило в отдельном доме) — была со всеми приветливой и ровной. Чуть—чуть она выделяла из других меня, вроде как крестного. Но, может быть, мне это только казалось?

Стеша сразу же стала не только поварихой, но и полноправным членом нашей экспедиции. В полдень, принеся нам прямо на место раскопок второй завтрак, она подолгу задерживалась, присматриваясь к новым, каждый раз неожиданным находкам. По вечерам мыла и шифровала фрагменты древней керамики, которые мы находили за день. Зашифровать фрагмент — это значит надписать при помощи условного шифра место находки, год, а также

название экспедиции. Она искренне заинтересовалась нашей работой. Мне это было очень дорого и приятно... Ведь археология — наука о человеческом труде, наука, в которой сочетается радость первооткрытия с научным предвидением, точное знание с богатым воображением, мысль, устремлённая в прошлое, с живым общением с людьми и с природой.

Закончив шурфовку и съёмку разреза и плана холма, мы приступили к разбивке больших стационарных раскопов. Это очень важный и волнующий момент в работе археологов. Ведь раскоп — дверь в неизвестное, в прошлое, которое мы ищем. Надо не ошибиться «дверью». Исследования даже самого небольшого поселения требуют огромного труда, средств, времени. Необходимо найти остатки жилищ, производственных, хозяйственных и оборонительных сооружений. Ошибка в размещении раскопов может свести на нет труд всего коллектива экспедиции. Конечно, места раскопов выбираются не по наитию — сначала проводится большая подготовительная работа.

Нет ни одного настоящего археолога, который при разбивке раскопов не выполнял бы всех положенных правил, и все же это всегда риск — сквозь землю не видно! А где риск — там и суеверие. Считается, что есть археологи «счастливые» и «несчастливые» и первым всегда везет.

Я думаю, что дело здесь просто в том, что «счастливыцы» — это чаще всего те, кто, даже не отдавая себе в этом отчёта, умеют полностью взвесить и сопоставить все предварительные данные.

Наш учитель принадлежал к археологам «счастливым», и мы гордились этим безмерно: ведь приятно работать с «везучим» археологом.

Мы и правда были счастливыми. Уже через несколько дней после начала раскопок было сделано очень важное открытие.

В древних летописях история нашего города упоминалась всего на протяжении нескольких десятилетий. Но когда и почему в нем прекратилась жизнь — этого никто не знал. А мы узнали!

Судя по летописным данным, татаро–монгольские полчища, захватившие в тридцатых годах XIII века Русь, по пути из Смоленщины на Киевщину проходили в районе нашего города. Вряд ли, конечно, они миновали при этом столицу княжества. Однако фактов, подтверждающих эту догадку, пока не было. И вот мы обнаруживаем, что верхний горизонт культурного слоя наших раскопов насыщен углем и золой, и в них в изобилии попадаются железные наконечники стрел, железные части арбалетов и другое оружие — остатки пожара и битвы, после которых жизнь на городище не возобновлялась. Находки позволяли чётко датировать время бедствия: 1230—1240 годы. Значит, наш город разделил трагическую судьбу сотен других русских городов, жители которых погибли в неравных боях с ордами монголов...

Это ли не открытие? Мы не вылезали из раскопов.

Прежде всего необходимо было определить толщину культурного слоя, его насыщенность и стратиграфию — естественное расположение культурных отложений в почве. Исследование и разборка культурного слоя ведутся двумя способами: пластами и слоями. Первый способ проще, второй интереснее. Пласт — условное понятие, это часть культурного слоя определённой (чаще всего двадцатисантиметровой) толщины. Прослойка — естественно отложившаяся часть почвы с вещественными остатками деятельности человека, отличающаяся от других частей культурного слоя особым цветом, структурой, специфическими примесями строительного остатков, керамики, вещами.

На нашем городище более или менее ясно выделялась только одна прослойка: с углем, золой и оружием, и время, к которому она относилась, мы определили довольно быстро. Но

город был обитаем на протяжении трёх столетий — об этом можно было судить, сравнивая самые ранние и самые поздние вещи из найденных при раскопках. Поэтому очень важно и интересно было попробовать расчленив культурный слой городища на естественные прослойки и восстановить таким образом материальные черты различных этапов истории города на протяжении всех этих трёх столетий.

Наш руководитель и пошёл по этому трудному пути, проявив при исследовании удивительное терпение, остроумие и точность.

Прежде всего, мы, по его указанию, расчистили край ровного плато на вершине холма, где находился город. Руководили этой работой Володя и я. Показались три едва заметные прослойки, чуть-чуть отличавшиеся друг от друга по цвету. Однако, как только влажная земля прогрелась под лучами яркого летнего солнца, границы их исчезли. Я растерялся. На тех поселениях, на которых мне приходилось работать раньше, разница в прослойках прослеживалась очень чётко или их не было вовсе. Пришлось приостановить работы. Володя, который, как и я, удручённо сидел возле раскопов, внезапно поднялся и куда-то молча двинулся. Вернулся он минут через двадцать с большой лейкой, доверху наполненной водой. Потом взял у рабочего лопату, снова зачистил часть профиля и принялся поливать землю из лейки. Почва впитала в себя влагу, и прослойки проступили вновь. Так был найден выход из, казалось бы, безвыходного положения. Возле каждого рабочего мы поставили человека с лейкой или ведром, часть рабочих выделили на непрерывную подноску воды. Пришлось произвести зачистку снова. Археологи прочерчивали ножами в почве границы прослоек. Но стратиграфический разрез культурного слоя следовало подтвердить или опровергнуть также другими данными. Для этого вдоль всей зачищенной части и кромки плато были заложены узкие длинные раскопы. Исследование и разборку культурного слоя в них мы вели по уже намеченным прослойкам. Мы изучали самые характерные для каждой прослойки образцы посуды и различных изделий, исходя из предположения, что за три столетия существования города облик керамики и других вещей, естественно, менялся. Это была кропотливая работа, но результаты её позволили твёрдо установить стратиграфическое деление культурного слоя.

Прослоек действительно оказалось три. Сопоставив найденные в них вещи и сооружения с летописными упоминаниями о городе, мы определили хронологические периоды, в которые эти прослойки образовались. Первая пришлась на XI и половину XII века — период образования города, сравнительно мирный.

Вторая прослойка относилась к нескольким годам середины XII века. В это время, как свидетельствует летопись, из-за княжеской междоусобицы город подвергался длительной и жестокой осаде. Земля сохранила скелеты убитых людей, лежавших прямо на дворах и улицах, остатки сгоревших домов, железные наконечники стрел.

Особенно значительна была одна находка: железная, покрытая серебром и позолотой «личина» от шлема. Это рельефная железная кованая полумаска с очень реалистически сделанным носом и надбровными дугами. Она надевалась на лицо и прикрывала его от ударов меча и стрел.

Третья прослойка свидетельствовала о конце осады и дальнейшей жизни города вплоть до 1238 года, когда полчища татаро-монголов нахлынули на Русь.

Так археологически были прослежены основные этапы истории города и судьбы его обитателей. А исследования открытых жилищ и различных мастерских позволяли ещё конкретнее и живее представить себе, как жили здесь люди, что они умели делать...

По мере углубления раскопов увеличивались наши знания истории города, возрастал объем работ, а рабочих рук между тем не хватало. Ревностно выполняя обязанности интенданта, я

нанимал рабочих. Охотнее всего помогали экспедиции школьники, но шли к нам и люди постарше. Особенно выделялся среди них некий Паниковский — тощий, с сильной проседью человек, облачённый в белую рубаху–косоворотку и в поношенные военные брюки. Как страстный почитатель творчества Ильфа и Петрова, я выпросил у начальства Паниковского на мой раскоп, хотя звали его и не так роскошно, как у Ильфа и Петрова — Михаил Самуэлевич, а скромно и даже буднично: Григорий Иванович.

Григорий Иванович показался мне человеком, выдавшим виды. В первый же день работы он рассказал мне, как в сентябре 1914 года в Мазурских болотах попал в плен к немцам и был послан батрачить на какого–то мелкого прусского помещика. Однако он вовсе не желал обогащать своим трудом помещика. Вместе с тем ему не улыбалось и другое — подвергнуться репрессии за отказ от работы. Присмотревшись к обстановке, Паниковский увидел, что помещика отличают два основных качества: непомерная глупость и такая же непомерная страсть к тщательности и порядку. Григорий Иванович решил использовать и то и другое. Если помещик приказывал ему разбить грядку на огороде, он разбивал её неделю. Он окапывал канавку с такой тщательностью, с какой гранят и шлифуют алмаз. Помещик приходил в дикий восторг, принимая работу, и всем хвастался, какой у него «гроссер рюски майстер». Так Паниковский прожил у него до самой революции. Но, к сожалению, подобная манера работать не покинула его и после революции, когда он уже вернулся на родину. Ничего не скажу: он копал необычайно аккуратно, но с такой иссушающей мозг медлительностью, что я прямо не знал, что предпринять! А постоянно делать замечания человеку, который был старше меня вдвое, мне было неудобно. Да и кроме того, я не раз ловил себя на том, что сам с интересом прислушиваюсь к рассказам Паниковского. А ещё припоминал я великое монгайтовское движение первой экспедиции и не мог быть слишком строг с Григорием Ивановичем.

Особенно острый характер приняли отношения Паниковского с начальником экспедиции. Бурный темперамент нашего руководителя находился в вопиющем противоречии с ничем не сокрушимым спокойствием Паниковского. Впрочем, как показали дальнейшие события, стиль работы Григория Ивановича Паниковского в конце концов сослужил экспедиции большую службу...

Вскоре работы были полностью развёрнуты, и археологическое счастье большими шагами бродило по древнему городу, переходя с раскопа на раскоп. Вот на краю обрыва нашли гончарный горн для обжига посуды, а в нем стоящие и два ряда друг над другом совершенно целые горшки с красивым волнистым орнаментом. Какая это редкая удача для археолога: ведь можно полностью изучить всю конструкцию горна, технологию обжига посуды древнерусскими мастерами, форму и качество её! А способ формовки и обжига посуды — один из важнейших показателей общего уровня развития производства. Например, когда глиняную посуду делали лишь для себя в каждом доме, её формовали от руки, лепным способом. Такая посуда чаще всего асимметрична, стенки её разной толщины, поверхность груба. Когда же появились мастера–гончары, они стали изготавливать посуду на гончарном круге. Эта посуда правильной формы, с тонкими стенками. Если сосуды после формовки обжигались на костре или в печке, то обжиг получался неровным: одни части сосуда были обожжены хорошо, другие перекалены, третьи обожжены только сверху, и в таких сосудах на изломе проступала серая или чёрная необожжённая полоска. Посуда, обожжённая в гончарном горне, иная: обжиг в ней равномерный и сквозной. Однако применять гончарный круг и гончарный горн выгодно было только мастеру, работавшему уже не для обеспечения нужд своей семьи, а на заказ, на рынок, иначе незачем было возиться со сложным оборудованием и тратить так много труда. Значит, обнаруженный нами гончарный круг говорил о том, что в городе уже появилось товарное производство керамики, производство на заказ.

Не только каждый народ или племя, но даже отдельные поселения имели некоторые свои, только им присущие особенности в форме посуды, характере её украшений. Все эти

особенности древней утвари помогают определить этническую принадлежность тех, кто жил на поселении, уровень их цивилизации, род занятий.

Керамика рассказывает археологу о многом. Так, например, кочевники делали сосуды с острым дном. Поставленные в дымный костёр где-нибудь в бескрайней степи, они хорошо держались среди камней. Сосуды же земледельцев почти всегда с плоским дном — их ставили на плоский под печи в доме.

Но как трудно изучать керамику! Глиняные сосуды обычно находят лишь в виде более или менее крупных обломков. А потом, когда их вымоют, зашифруют и внесут в опись, начинается невероятно кропотливая работа по составлению сосуда. Недостающие части заменяются гипсом, который потом тонируют под общий цвет, и лишь тогда археолог получает ясное представление обо всем сосуде — его форме, размерах, орнаменте, технике замешивания глины, формовке, обжиге.

Большое значение имеет и изучение примесей к гончарной глине, форм и способов нанесения орнамента, особенностей орудий производства. Гончарные круги, например, делались в древности из дерева. Деревянные круги не сохранились. Очень редко попадают в раскопках и гончарные горны. Поэтому, когда с крайнего раскопа раздался крик: «Гори! Гончарный горн!» — все, кто мог хоть на несколько минут оторваться от работы, побежали на крик.

Володя уже успел расчистить верхнюю часть горна. Расчищал его он сам с помощью маленькой саперной лопатки и кисти. Рабочий, помогавший Володе, только отбрасывал большой лопатой уже просмотренную землю. Отчётливо виднелась верхняя часть купольного свода с большим круглым отверстием. Вернее, это были лишь обломки глиняных стенок рухнувшего свода, и на нескольких из них виднелись геометрически точные дуговые выемки — части круглого отверстия. Вот по положению этих обломков и можно было реконструировать купольный свод с круглым отверстием.

Расчистка горна продолжалась до позднего вечера. Самое главное было не сдвинуть ни на йоту, не потревожить обрушившиеся части свода: нужно было проследить, как именно он разрушился, и, зная это, восстановить его подлинные размеры, форму, конструкцию. И вот, наконец, горн расчищен. Нижняя часть его уцелела полностью. Горн оказался круглым в плане, двухъярусным, такой конструкции, которая была придумана ещё римлянами в первые века нашей эры. Он напоминал собой большой полукруглый колпак, внутри же был разделён толстой горизонтальной стенкой на дне части — верхнюю и нижнюю. Нижняя часть служила топочной камерой, мы нашли в ней золу и уголь, в верхней производился обжиг раскалённым воздухом. Для этого в потолке топочной камеры было проделано много круглых сквозных отверстий, или продухов, как их называют современные гончары.

Верхняя камера была полностью загружена совершенно целыми горшками, стоявшими один над другим в два ряда, и это дало нам возможность точно определить производительность горна. Топка была прервана внезапно и не возобновлялась: обжиг горшков был не закончен. Только исключительные обстоятельства могли заставить гончара вот так бросить работу и не вернуться больше к своему горну. Этими обстоятельствами, судя по слою, в котором мы нашли горн, были татарское нашествие и битва. Во время битвы, видимо, погиб и гончар... Вернее, не гончар, а гончары: днища сосудов были клеймены небольшими выпуклыми рельефными изображениями — знаками мастеров, своего рода фабричными клеймами. В нашем горне на днищах сосудов обнаружилось два типа клейма: крест в круге и квадрат в круге. Очевидно, здесь работали два мастера, горн был их общим достоянием...

Нашли мы и жилища мастеров: небольшие квадратные полуземлянки.

Помню, когда первый раз началась расчистка жилища — тёмного пятна квадратной формы,

которое чётко выделялось на фоне жёлтого грунта, я почувствовал какое-то недоверие. Неужели это тёмное пятно и есть остатки жилища?

Но вот аккуратно снят тонкий тёмный слой — остатки рухнувшей земляной кровли, и медленно начала показываться из слоя угля, золы, глины нехитрая домашняя утварь: горшки, железные кресала для высекания огня, непонятого назначения крюки, заклёпки, пряслица для веретена.

Только тупица, лишённый всякого воображения и смысла, не различил бы в этой утвари остатков внезапно покинутого дома.

Тщательно расчищая пол дома, я испытывал даже какое-то неловкое чувство, словно вошёл в чужое жилище без ведома хозяев. В углу мы нашли каменные круглые жернова — мельничный постав, а рядом с ним обломки больших пузатых горшков — корчаг, куда ссыпалась мука.

Впервые были отысканы совершенно целые древнерусские жернова — не потревоженная никем и не разрушенная ручная мельница.

Мы находили не только жилища рядовых обитателей города — ремесленников и земледельцев. В центре укреплённой части городища — в детинце, или кремле, — открылись и остатки огромного, крытого медью дома: княжеского или боярского дворца...

У меня на раскопе все ещё не встречалось никаких сооружений, но зато открылись остатки древнего могильника. В те времена умерших уже не сжигали на кострах и в могилы к ним уже не клали вместе с прахом утварь, инструменты, украшения и еду, как во времена язычества. Христианская церковь требовала, чтобы умерших хоронили не сжигая, без всяких вещей. (За одно это, конечно, археологи полны недобрых чувств к христианству! Ведь вещи в могилах, как правило, сохранялись веками, и каким ценным источником знаний для изучения древней материальной культуры служит каждая могила язычника! А христианская церковь лишила науку этого источника.) Но жители нашего города, несмотря на то что Русь уже давно приняла христианство, на наше счастье, продолжали кое в чем придерживаться старых обычаев. Поэтому в могилах иногда попадались горшки, перстни, браслеты, ножи. Попались они в конце концов и мне.

Раскопки древнего могильника — увлекательнейшее дело. Особенно, если это первое раскопанное тобой погребение. Вот все вскрыто. Тщательнейшим образом расчистил я ножами и специальными кистями скелет и вещи, которые находились возле него. Все сфотографировано, нанесено на план, зарисовано. Останки давно ушедшего из жизни человека и вся нехитрая утварь, положенная с ним в могилу, не потревожены, ни на сантиметр не сдвинуты с места, лежат так же, как пролежали уже сотни лет. И все это очищено до такой стерильной чистоты, как будто скелет положен на операционный стол.

Впрочем, это и есть операционный стол — операционный стол историка-исследователя. Это неважно, что ты студент. Последние взмахи кистей, последний щелчок затвора фотоаппарата, и все рабочие и твои добровольные помощники отходят в сторону. Остаешься только ты — археолог. Один на один со своей находкой. Это своеобразный поединок мёртвого и живого. Вот он лежит перед тобой — скелет давно умершего, неизвестного человека. Он нем, нем уже многие сотни лет. Но ты должен заставить его заговорить, рассказать о себе: кто он, когда жил, кем был, сколько ему было лет, когда и отчего умер, мужчина он или женщина, знатный ли боярин, или воин, или простой ремесленник, русский или, может быть, печенег...

Конечно, кое-что ты сможешь уточнить только в Москве, в лаборатории, когда скажут своё слово химики-консерваторы, антропологи, реставраторы. Но главное ты должен сделать сейчас. Ведь от правильности, точности твоего определения во многом зависит направление

и успех дальнейших раскопок. Так будь осторожен. Вспомни все, что знаешь, все, что умеешь. Не торопись, будь внимательным к каждой мелочи. Ведь не зря ты потревожил эту древнюю могилу, не зря здесь столько времени, с таким старанием и тщательностью работали твои товарищи.

Поединок начинается. Наклонись над скелетом. Посмотри состояние зубов, степень сращения и обызвесткования черепных швов. Так-так. Этому человеку, когда он умер, было лет сорок — сорок пять. Точнее это скажут в Москве специалисты-антропологи, но примерный возраст ясен. А теперь посмотри на форму глазниц, на подбородок, на ширину и линии лба. Это женщина. Что это за маленькое розовато-фиолетовое колесико возле ее правой руки? А, это пряслице-грузик для веретена, который придает веретену устойчивость при вращении. Что же, это только подтверждает, что скелет женский. Ведь пряли испокон веков именно женщины.

Пряслице сделано из розового шифера. Такой шифер в Восточной Европе имеется только в одном месте — возле города Овруча, одного из центров древнерусского государства. Там были знаменитые камнерезные мастерские, изделия которых, в том числе и пряслица, широко распространялись по всей Руси и за её пределами. Мастерские были разрушены и уничтожены татарами около 1238 года, овручские ремесленники были либо перебиты, либо уведены в плен, и мастерские никогда с тех пор не возобновляли работы. А начали они функционировать примерно в середине XI века. Значит, женщина погребена не раньше середины XI. Это пряслице из ранних: посмотри внимательно, какое оно плоское, какое широкое в нем отверстие. Позднее в Овруче стали делать пряслица другой формы. Значит, погребение было совершено не позже середины XII века.

А вот и небольшой горшочек у ног скелета. Он покрыт узором в виде широкой и плавной многорядной волны, венчик горшочка почти прямой, с чёткими гранями, лишь слегка отогнутый наружу. Сам горшок очень простой по форме, напоминает перевернутый усечённый конус, однако сделан на гончарном круге. В глине примесь мелкого песка.

Так. Мы знаем, что подобные горшки изготавливали в X — первой половине XI века, не позже. Знаем это на основании работ наших керамистов, классифицировавших сотни тысяч фрагментов древнерусской керамики.

А теперь сопоставим две вещи: пряслице и горшок. Пряслице датируется серединой XI — первой половиной XII века. Горшок — X — серединой XI века. Получается, что женщина умерла в середине XI века: только в этом случае к ней в могилу могли положить одновременно и такой горшок, и такое пряслице.

Но пойдём дальше. Горшок — с плоским дном; значит, он принадлежал оседлым людям; об этом же говорит и сам могильник, расположенный на долговременном поселении — городище. А по форме, орнаменту, технике выделки и глиняному тесту горшок типично славянский. Так. А теперь посмотрим, пока ещё могила освещена солнцем: что это отликает зеленью возле головы женщины? Четыре медных височных кольца, по два с каждой стороны головы. Кольца литые, грубоватые, с дужкой и семью расходящимися лопастями. Сквозь дужку женщины продевали пряди волос и носили кольца у висков, отчего и происходит их название. У каждого из четырнадцати восточнославянских племён — предков русского, украинского и белорусского народов — были свои, только этому племени присущие формы височных колец. Учёные давно установили, что районы массового распространения височных колец определённого типа точно совпадают с указанием летописца о той территории, которую занимало каждое из племён. Височные кольца с семью лопастями носили славяне из племени вятичей. Они жили, как написано в летописи, по реке Оке и её притокам. Москва тоже стоит на древней земле вятичей.

Далеко, однако, ушла ты от берегов Оки, землячка, и умерла на чужбине...



Стеша принесла мне ужин прямо на раскоп, но я до него не дотронулся. Может быть, здесь вообще была колония вятичей? Во всех других могилах, где мы нашли височные кольца, они были иной формы, характерной для племени северян. На их земле, судя по сведениям летописи, стоял и наш город...

Вместе с моей землячкой в могилу положили только пряслице, горшок и височные кольца. Небогато. Да пряслице и не положили бы в могилу знатной и богатой женщины: вряд ли ей приходилось сидеть за прялкой. Кроме того, у богатых женщин височные кольца были из серебра, перевитые кручёной серебряной проволокой, с узором из напаянных серебряных шариков. А это — простые, грубые, медные литые височные кольца. Женщина, видно, была простая, — наверное, жена ремесленника.

Я принялся подводить некоторые итоги. Итак, в могиле похоронена простая горожанка, лет сорока — сорока пяти, приехавшая сюда откуда-то с побережья Оки. Она жила и умерла в первой половине XI века. Судя по тому что она продолжала и на территории другого славянского племени носить височные кольца вятичей, она попала сюда уже довольно взрослой. Конечно, это только догадка, но догадка необходимая. Поединок ведь не окончен. После раскопок всего могильника, после реставрации и детального изучения всех найденных вещей можно будет сказать еще многое. А в мастерской замечательного учёного-антрополога М. М. Герасимова нам сделают пластическую реконструкцию лица этой женщины, и мы увидим её скульптурный портрет. Разве смогу я забыть его? Могила за могилой. Изо дня в день вступали мы в эти поединки, пока не раскопали все древнее кладбище.

На моем раскопе начала наконец попадаться плинфа — тонкий и широкий кирпич, излюбленный древними русскими зодчими. Вслед за тем показались остатки стен и фундамента чудесной древнерусской церкви XII века, выстроенной под влиянием византийской архитектуры, — её хорошо знали русские строители.

Нет, это было совсем не просто — раскапывать остатки Церкви, расшифровывать её конструкцию и форму. Ещё очень далеко было то время, когда изображение и реконструкция этой церкви войдут в различные работы по истории русского зодчества. Но мы уже видели её — маленькую, изящную, с одной полукруглой абсидой и крытой галереей вокруг всего здания.

Раскопки были трудными. В некоторых местах не сохранилось даже остатков фундамента. Проследить толщину и форму фундамента и стен можно было только по едва уловимой разнице в окраске и плотности почвы. В других местах развал стен и остатки сохранившейся кладки так перемешались, что отделить одно от другого было почти невозможно. А сделать это было необходимо, чтобы, выяснив размеры и пропорции здания, восстановить его подлинный облик. Итак, раскопки требовали особой, совершенно ювелирной тщательности.

Тут-то Григорий Иванович Паниковский показал, на что он способен. Ни одна кошка не выслеживала с такой осторожностью мышь, с какой Григорий Иванович отыскивал остатки следов древних стен. Как тут пригодилась и медлительность, и обстоятельность, и собственные ему!

Штыковую лопату Григорий Иванович сменил на целый набор инструментов: на маленькую сапёрную лопату, кисть, шпатель, скальпель. Наконец-то люди оценили Григория Ивановича, наконец-то воцарился мир между его душой и внешними проявлениями этой души. Григорий Иванович пользовался симпатией всех сотрудников экспедиции и был счастлив и спокоен. Единственный человек, с лёгкостью нарушавший безмятежное состояние его духа, была Семёновна. Явившись на раскоп, что она имела обыкновение делать по нескольку раз в день, Семёновна некоторое время наблюдала за Паниковским, а потом, как бы невзначай, цедила:

— Ну как, лежебок? Все змываешься над наукой?

Паниковский мог бы сделать вид, что он не слышит Семёновну или думает, что её слова относятся не к нему. Зная его невозмутимость, я сначала решил, что он поступит именно так. Но есть исключения из любых правил. К Семёновне даже Паниковский не мог быть равнодушным. Он немедленно отвечал ей (и, право, отвечал то, что она заслуживала), она — ему, и начиналось... Но верх все же оставался за бабкой. Паниковский в отчаянии кидал шпатель или лопатку и требовал моего заступничества. Он ссылаясь на свои военные заслуги, на контузию... Я с трудом восстанавливал порядок.

Странные отношения сложились у нас с Семёновной. Природный ум, острота и даже ехидство уживались в ней с детским простодушием и неустанным правдоискательством. Я с удовольствием забегал к ней иногда и подолгу беседовал, хотя мы по преимуществу препирались и спорили, о чем бы ни зашла речь. Впрочем, я был допущен Семёновной к величайшему таинству. Сын её служил во флоте, плавал в заграничных рейсах и дома бывал только раз в несколько лет, а муж давным-давно умер. Семёновна хранила письма сына, перевязанные ленточкой, за иконой. Иногда, по вечерам, она торжественно читала их. Вот в этом-то ритуале я и принимал участие, что являлось знаком величайшего доверия. Этим я, конечно, искренне гордился.

Происходило чтение так: бабка стелила на стол лучшую скатерть, надевала старинную белую рубаху и тёмную, плотную, расшитую, как ковёр, понёву. Затем водружала на нос большие очки в железной оправе и доставала из-за образа письма. Я присаживался рядом, на краешек стула. И хоть очки надевала она, письма читал я: Семёновна была неграмотной.

Потом мы чинно пили молоко и в эти вечера не ругались и не ссорились.

Как-то она сказала мне:

— Ты бы, Егор, на Хитрову гору ходил, к Магериной Параше. Ох, и песни знает, и поёт как!.. У тебя в Москве в киятрах так не поют! Только вот... — И старуха замялась.

— Что, Семёновна? — Усмехнулся я. — Опять какой-нибудь подвох?

— Да ты слушай, слушай! — Серьёзно, наставительно продолжала старуха. — Колдунья она. К ней подобру никто и не ходит. А вот привяжется болезнь или хворость, так не хочешь — пойдешь. Она от всех болезней лечит. А заговоры какие знает — страх берет!

Я рассмеялся:

— Прoshлый раз ты меня к уроду посылала, а оказалась — красавица. Теперь к колдунье шлешь, а она, наверно, доктор медицинских наук, профессор! Болезни-то она вылечивает?

— Не вылечивала — не ходили бы. Ещё как вылечивает!

— Я и говорю — профессор!

— Сам ты прохвессор, и еще хуже! — Рассердилась Семёновна.

Я долго умащивал и успокаивал расходившуюся старуху...

Но в один из ближайших дней я все же отправился к «колдунье». Мне было интересно узнать, что лежит в основе оригинальных бабкиных определений.

Пошёл я с Володей. Он, кстати, захватил с собой фонограф (магнитофонов тогда ещё не было), и мы двинулись на Хитрову гору.

На Хитровой горе — небольшом, но крутом холме — стоял только один дом, рубленый из крепких дубовых брёвен. Володя постучал. Никто не ответил. Тогда, приподняв деревянную щеколду, мы открыли дверь сами и через холодные сени пошли в светлую, просторную горницу. У стола сидела миловидная, курносая девушка лет восемнадцати.

— Прасковья Магерина дома? — Спросил я.

— Ни. Мама в лес пошла, за травами, — приветливо ответила девушка.

— Мы хотим с твоей мамой поговорить. Мы из экспедиции, копаем здесь, в селе. А тебя как зовут?

— Зиной. А я вас видела. Сидайте, мама скоро придёт.

Ждать пришлось недолго. Дверь распахнулась спустя минут десять, не больше, и в горницу вошла женщина лет пятидесяти, высокая, статная. В одной руке она держала несколько пучков разных трав, перевязанных, как редиска, нитками.

Женщина бросила на нас смелый, но в то же время какой-то настороженный взгляд и сказала:

— Здравствуйте, гости дорогие! Чего Москве на Хитровой горе увиделось?

— Здравствуйте, — ответил за нас обоих Володя. — Простите, не знаю, как ваше имя-отчество?

— Прасковьей Антоновной величают, — спокойно, с лёгкой усмешкой ответила Магерина. Потом налила ковшом воды из бочки в плоскую деревянную бадейку, с удовольствием, как-то особенно вкусно, умыла руки и лицо, вытерлась чистым белым, расшитым по концам петухами рушником и присела на лавку.

— Прасковья Антоновна, говорят, вы знаете много хороших песен, — продолжал Володя. — Мы бы очень хотели послушать, как вы поёте.

— Песни-то знаю, как не знать, — все так же с усмешкой ответила Магерина, — да время ли среди бела дня песнями баловаться?

Пока Володя, запинаясь, разъяснил, как важно для науки собирать и изучать народные песни, какое значение имеет фольклор, я разглядывал «колдунью». Высокий лоб, загорелое скуластое лицо выражали ум и волю. Кожа у Прасковьи Антоновны была гладкая, без морщин; седоватые волосы, пышные и слегка вьющиеся, небрежно собраны сзади в большой узел. Резко вырезанные тонкие ноздри, прямой, с лёгкой горбинкой нос. Брови широкие, слегка приподнятые кверху, к вискам.

Но особенно сильное впечатление произвели на меня её небольшие, глубоко сидящие серые глаза. Они были очень странной формы: как вытянутые треугольники; яркий блеск их напоминал блеск полированного железного лезвия.

Материна слушала моего приятеля молча, внимательно, казалось, все с той же лёгкой, затаённой усмешкой.

Когда Володя кончил, сказала задумчиво:

— Так, выходит, не баловство? Что же, можно и спеть.

Потом встала, развернув прямые, широкие плечи, провела ладонью по лицу и словно вдруг помолодела от этого. В глазах её появилось какое-то напряжённое выражение, они

остановились. И, глядя поверх наших голов, запела сильным, высоким и звучным голосом на редкость приятного тембра. Она стояла в вольной, свободной позе, но совсем не двигалась: казалось, ни один мускул даже не шевельнется на её лице; казалось, песня сама поётся, а она, зачарованная звуками, лишь прислушивается к ней.

Песня была о старой, как мир, истории: о страданиях человека, насильно разлучённого с любимой. Только фоном служили не городские улицы, не хоромы, не поля, а родной для Прасковьи Магериной лес. И от этого вся песня приобретала новый смысл и звучание.

Спокойно, грустно, задумчиво лилось из её уст:

Унесу скуку в дремучие леса...

И вдруг голос, дрожа, подымался вверх, в нем слышались боль, шелестящий ветер, острое, мятущееся страдание несправедливо обиженной, цельной и сильной природы:

В лесах нет покою —

Все листья шумят,

Древа, как нарочно,

Попарно стоят...

Прасковья Антоновна кончила петь и спросила:

— Ну, как вам, люди учёные, наша деревенская песня?

Но она и сама хорошо видела, «как нам»,

Пела она в тот день много, не чинясь, и мы сразу же записали несколько песен. Но, когда затем мы прокрутили ей запись и она услышала свой голос, она очень заволновалась и даже испугалась. И так не вязался испуг с этой сильной и смелой женщиной, что мы даже и не подумали, как раньше хотели, пошутить по этому поводу. Мы стали её успокаивать. Но успокоилась она только тогда, когда мы, как могли, объяснили ей устройство фонографа и даже разобрали и собрали его.

— Не люблю чертовни всякой непонятной, — как бы извиняясь, сказала Магерина.

Тут я не выдержал и сказал:

— А с чего бы это, Прасковья Антоновна? Ведь вас саму колдуньей считают?

— Дуры бабы, — с досадой ответила она. — Тебе, человеку учёному, не пристало бы их сплетни повторять. Бабка моя и мать моя от века травами лечат и меня сызмальства научили. А я ещё в германскую войну в госпитале работала. Разве ж травы плохие? Они полезные, от них всякая хворь выходит. Только своего не уберегла. Он семь лет воевал. И в окопах насиделся, и в гражданскую в Красной Армии. Как пришёл в село, все кашлял, кашлял года два, да так и помер. Вот Зинки — и то не дождался. Так и живем мы с нею... А бабы дуры, — сильно и со злостью сказала она. — Ко мне же бегут, Христа ради просят: вылечи —

и меня же в колдуньи произвели.

— А заговоры зачем? — Спросил Володя. — Вы ведь и их, говорят, применяете?

Прасковья Антоновна посмотрела на него с обычной своей усмешкой и тихо, но с каким-то озорством произнесла:

— Так ведь у меня трубочек, градусников нету, я баба деревенская, а чтоб человек вылечился, ему вера нужна... Вот в супе и мясо, и картошка, и соль есть — что ещё надо? А без травки есть не станешь — вкуса нету. Так и вера для леченья. Чтоб было что-то особое!

Мы подружались с Прасковьей Антоновной. Часто бывали у неё, любили смотреть, как неумоимо, легко и красиво работает она и дома, и в огороде, и в поле, слушали её песни, а особенно любили ходить с ней в лес. Для каждой травинки у неё было своё название; каждую западину, каждое урочище в лесу она знала, как свою избу, знала и любила, хотя в разговоре старалась скрыть эту любовь за обычной усмешкой. А потом неожиданно случилось так, что пришлось и нам узнать её врачевание.

Село, в котором мы жили, было расположено очень далеко от железных и шоссейных дорог, в глуши, среди непроходимых лесных чащ. Может быть, поэтому тут так причудливо уживалась с колхозным строем, бригадами и трудоднями, старина: множество всяких суеверий, вековые традиции и обычаи, домотканая одежда.

С того времени как мы отрыли остатки церкви, часть жителей села, и вовсе не одни только старухи, стали относиться к нам плохо.

Сердилась и Семёновна. Правда, недовольство своё она вымещала только на Паниковском. Придя на раскоп и сдвинув совсем на нос, как забрало, конец своего чёрного головного платка, она заводила:

— У, анчихрист, разоритель!

Паниковский мгновенно вскипал и сразу переходил в контратаку:

— Уходи, старая! Ты Егора своего ругай!

Но меня бабка в обиду давать не желала. И хоть пронзала меня укоризненным взглядом, Паниковского все-таки отбривала:

— Ты Егора не трогай. Егор — он неверующий. Он как дитё малое — не ведает, что творит, для науки старается!

— Нет, вы поглядите! — Совсем срывался на крик возмущённый Паниковский, обращаясь к любопытствующей аудитории. — Егор для науки старается! А я, по-твоему, не для науки?! Да я ещё в Германии всё про науки разнюхал!

— «Для науки!»! — Сардонически отвечала Семёновна. — Фурштюк ты проклятый, немецкая баклажка!

Непонятное слово «фурштюк» приводило Паниковского в такую бешеную ярость, что тут уже и я вынужден был вмешиваться. Бабка, победоносно ухмыляясь, уходила.

Многим деревенским казалось, что, раскапывая церковь, мы оскверняем святыни. Мы разъясняли, что это не так, читали в колхозном клубе нечто вроде популярных докладов по археологии, много беседовали с крестьянами. Но все это помогало слабо. На рабочих, принимавших участие в наших раскопках, смотрели косо, а Паниковского, по пьяному делу, даже побили. Григорий Иванович, ставший настоящим мучеником археологии, перенёс побои

стоически и остался нам верен.

Даже дружба с Прасковьей Антоновной и частые встречи с ней — и они ставились нам в укор. Но, конечно, несмотря ни на что, мы не отказывались ни от раскопок, ни от знакомства с Прасковьей Антоновной. Председатель колхоза и председатель сельсовета, а также обе школьные учительницы были, понятно, на нашей стороне. Жадно слушали нас и школьники — мальчики и девочки: они были нашими закадычными друзьями. Но среди простых колхозников нас открыто поддерживали только Федя и Стеша Шатровы. Стеша к этому времени стала настоящим энтузиастом экспедиции. Рано утром она тихонько стучала в окно: пора вставать. Научилась обращаться с рулеткой, уровнем и буссолью. По вечерам она, пристроившись где-нибудь в уголке нашей избы с тазом и щёткой для мытья керамики, слушала увлекательные рассказы нашего начальника. Слушала с необыкновенным вниманием, широко раскрыв глаза, оживлённо кивала головой. Выражение её худенького лица непрерывно менялось. И когда понимала, что можно спрашивать, задавала, краснея, десятки вопросов. Мы никогда не уставали ей отвечать. Все свободные вечера проводил с нами и Федя. Однажды, принеся второй завтрак на раскоп, Стеша босой ногой перевернула лежащий в тени плоский кирпич — плинфу. Там оказалась гадюка — она спряталась в холодок — и, потревоженная, немедленно ужалила Стешу.

Я очень испугался, тут же перебинтовал Стеше ногу выше укуса и побежал в конюшню за подводой, чтобы срочно отвезти Стешу в соседнее село — Жуково, где был медпункт. Я сказал заведующему фермой, у которого попросил подводу, что у меня в Жукове дела по экспедиции и что ездового мне не нужно. Сказать, в чем было дело по-настоящему, я не хотел: кое-кто мог бы ещё объявить, что все это божья кара за осквернение церкви, и тогда нам, пожалуй, пришлось бы плохо. А передать Стешу с рук на руки Феде я тоже не мог: он находился далеко за рекой, на луговине, звать его было некогда.

Уже через час взмыленная лошадь подвезла нас к медпункту. Всю дорогу Стеша молча держалась руками за края телеги, чтобы не вывалиться, и только смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Трудно мне было выдержать этот взгляд...

Из избы, в которой помещался медпункт, вышла девушка лет семнадцати–восемнадцати, в белом халате.

— Что у вас? — Испуганно спросила она.

— Фельдшера! Быстро! Женщину змея укусила! — Ответил я.

— Я — фельдшер, — упавшим голосом откликнулась девушка.

— Ну, тогда командуйте, что делать.

Но она растерялась. Только спросила меня:

— Может быть, йодом намажем?

Не помня себя от отчаяния, я чуть не замахнулся на неё кнутом и вскачь погнал лошадь обратно.

Когда мы доехали до магеринской избы, нога у Стешы стала пухнуть и синеть.

К счастью, Прасковья Антоновна была дома.

— Стешу змея укусила! — закричал я.

Прасковья Антоновна молча легко подняла Стешу, внесла в избу, положила на лавку. Пока она своими сильными руками накладывала на Стешину ногу жгут из рушника и туго

затягивала его палкой, я сбивчиво рассказал ей, что произошло.

— Сразу бы ко мне вез, милый, — укоризненно произнесла Прасковья Антоновна.

Потом, подержав на огне в печи острый нож, вроде сапожного, сделала довольно большой разрез на месте ранки от укуса.

Стеша дёрнулась и тоненько вскрикнула. Но Прасковья Антоновна, ласково уговаривая и успокаивая её, начала накладывать в рану и около разреза какую-то траву.

Может быть, сказались перенесённые волнения, только я не мог вынести этого зрелища и выскочил на улицу.

Наутро опухоль у Стеши спала, и через два дня она совсем поправилась.

Хотя Стеша обещала мне никому обо всей этой истории не рассказывать, но вездесущая Семёновна каким-то образом все же разнюхала, что произошло. И дня через три подозвала меня:

— Ты что же, Егор, носу не кажешь?

— А я как раз думал сегодня к тебе зайти.

Семёновна помолчала, потом ехидно сощурилась:

— Сегодня, значит? Так, так... А что это ты, человек московский, столичный, у колдуньев Стешу лечил?

Хотя я относился к Семёновне совсем иначе, чем Паниковский, но тут и я не выдержал и чуть не раскричался на неё, как он. Целый час препирался с ней. Рассказал и про то, как лечит Прасковья Антоновна, и про то, что такое вообще народная медицина. Сказал, что сообщу о Прасковье Антоновне в область, чтобы ей помогли. Заодно ещё и ещё раз доказывал Семёновне, почему нет ничего плохого в раскопках церквей, — наоборот, люди о самих себе больше узнают.

Семёновна, однако, не сдавалась. Прерывала меня ехидными замечаниями, а во время горячих моих монологов с сомнением жевала тонкими губами.

И все же разговор этот не прошёл даром. На наших глазах изменилось отношение и к «колдунье», и к раскопкам церкви, — Семёновна была заводилой всяких разговоров на селе. Люди стали ходить к Прасковье Антоновне свободно, не таясь, и не только по какому-нибудь делу, но, как и к другим, по-приятельски. Угрюмое молчание, встречающее нас, когда мы заводили с крестьянами разговор о раскопках церкви, теперь сменилось нескрываемым любопытством, нас засыпали вопросами.

Но вот раскопки подошли к концу. «Весомо, грубо, зримо» встал перед нами древний город. Он поднимался во весь рост, расправлял богатырские плечи, стряхивал налипшую веками землю, протягивал нам свои сильные руки — руки кузнеца и гончара, каменщика и ткача, строителя и воина. Мы бродили по его улицам, путая их с улицами современного села, мы назначали свидания то у княжеского дворца, то у колхозного клуба. Мы видели его живую историю, его труд, его радости и горести, и чувство необыкновенного единения с родной землей захватывало нас — чувство гордости за то, что принадлежишь к своему народу, что ты сам часть этого народа и его великой истории. Не успев уехать, мы уже с нетерпением ждали следующего сезона работ.

На прощание Стеша зажарила нам двух гусей. Провожало экспедицию все село. Когда подводы с вещами и экспонатами свернули на лесную дорогу, я обернулся, чтобы последний

раз взглянуть на него. На холме виднелось три фигуры: статная, высокая Прасковья Антоновна, стройная небольшая Стеша, а между ними совсем маленькая Семёновна. Мы уезжали, как думалось, ненадолго. В следующем сезоне мы собирались продолжать раскопки. Песни Прасковьи Антоновны были уже переданы в кабинет фольклора Московской консерватории, написали мы о ней и в облздравотдел.

Мы многое собирались сделать на следующий год в лесном селе. Но жизнь разбила наши планы: следующим летом началась война...

Прошли долгие годы. Беспокойная профессия археолога вела меня все к новым и новым местам. Но я не забыл наших друзей из далёкого лесного села, хотя и не знаю о них сейчас ничего. Только раз ещё промелькнуло передо мной лицо Стеши. Это было уже после войны. В областной газете, случайно попавшей мне в руки, я прочел Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Степаниды Ивановны Шатровой за героическую борьбу с фашистами в тылу врага, в партизанском отряде. Там же был напечатан её портрет. С газетного листа смотрели на меня её неправдоподобные большие прекрасные глаза, и взгляд их был ясен и прям, как совесть.

ДАНДАНКАН

ПОДЗЕМНЫЙ ДВОРЕЦ?..

Высокий румяный офицер с погонами старшего лейтенанта поставил объёмистый чемодан на пол, ладонью вытер пот с лица и козырнул. Потом, оглядев древнюю керамику и украшения, лежавшие на полках застеклённых шкафов, которые стояли в помещении кафедры, он широко улыбнулся и с облегчением сказал:

— Ну, наконец—то попал куда надо!

Мы с профессором с интересом ждали продолжения. Офицер не заставил долго ждать. Ещё раз отерев пот, он вдруг смутился и пробормотал:

— Вы извините, товарищи учёные, может, я не ко времени. Только дело срочное.

Потом, обретя форму, офицер чётко и коротко доложил:

— Наша воинская часть помогает прокладывать дорогу в юго—восточных Каракумах. В большом бугре, из которого в пустыне брали камень, обнаружен подземный дворец.

Мы с профессором переглянулись. А офицер продолжал:

— Прибыл сюда по командировочному предписанию.

А кроме того, командир части приказал найти археологов и им доложить об открытии. А вот это, — тут он снова улыбнулся, — вещественное доказательство.

Офицер не без труда поставил чемодан на стол и вытащил из него кусок каменной колонны, покрытой тончайшей резьбой — стилизованными изображениями растений, звёздами и многоугольниками.



Мы усадили офицера и стали его расспрашивать. Но ничего существенного к уже сказанному он не добавил. В огромном песчаном бугре, под слоем песка, камня, кирпича, на глубине двух метров открылись руины большого здания.

Профессор, внимательно рассмотрев кусок колонны, сказал:

— Судя по стилистическим особенностям орнамента, это домонгольское мусульманское средневековье. Очень интересно. Очень!

Юго–восточные Каракумы! Тогда ещё совсем не исследованная археологами область. Приобретали мировую известность раскопки древнего Хорезма в Кызылкумах, уже поражали наше воображение обнаруженные археологами дворцовые фрески Пянджикента из Таджикистана, а Каракумы — одна из величайших в мире песчаных пустынь — все ещё оставались для археологов неведомой землей! И вдруг такое открытие!

— Приезжайте, товарищи учёные, — сказал старший лейтенант, — командир приказал передать: в чем надо — поможем. — Оставив адрес, старший лейтенант попрощался и ушёл.

Совершенно ясно, что экспедицию нужно посылать, и посылать возможно скорее, несмотря на все трудности её организации в суровое военное время.

Профессор обратился ко мне:

— Поедете? — и тут же добавил: — Нет, нет. Не торопитесь. Ответите завтра. Только учтите — это Каракумы. — Вдруг, неизвестно почему рассердившись, профессор пробурчал: — Вы же сами знаете — на кафедре сейчас нет специалистов по Средней Азии. А археолог — везде археолог, — и, упрямо насупившись, замолчал.

Он всё понял, сказал обо всем самом главном. С трудом подавив желание сейчас же ответить, я отправился домой. Тут было о чем подумать. Разве можно пропустить такую необычайную возможность? Что Каракумы — это пустыня, что там будет не совсем как дома или в туристическом походе, об этом я и без профессора догадывался. И он отлично знал, что уж это меня не остановит. Просто так сказал — как начальство, для порядка. Меня смущало совсем другое. Все годы учёбы в университете я работал в экспедициях по славянской археологии. Конечно, я прослушал курс по археологии Средней Азии. Но чего стоят эти школярские знания без практической работы в экспедиции? Да, археолог — везде археолог. Можно, конечно, заложить раскопы, вести точное описание процесса работ, фиксацию находок. Ну, а дальше что?

Огромная ответственность ложится на каждого археолога в экспедиции. Чем важнее открытие, тем больше ответственность. Ведь можно прочесть неизвестную ещё страницу истории, а можно, не поняв, изорвать, испортить эту страницу так, что её уже никто не сумеет прочесть. Я не подготовлен к этой экспедиции. Нет у меня для неё нужных знаний. Нет, решительно нельзя ехать.

И все–таки мне мучительно, до какого–то исступления хотелось поехать. И дело тут было не только в удивительно заманчивой тайне, которая ждала разгадки.

Я был демобилизован из армии с «белым билетом» — снят с воинского учёта по болезни. После этого меня зачислили на кафедру археологии университета ассистентом.

Шла война. Опустела кафедра. Погибли многие мои товарищи по студенческим годам, по экспедициям в Новгороде, в лесном селе. Где–то в волнах Чёрного моря исчез след Ивана Птицына, в первые же дни войны вернувшегося к своей прежней профессии военного моряка. В бою под Можайском был смертельно ранен Гриша Минский. Пропали без вести Эля Таубин, Рувим Розенберг, Костя Забродин, Георгий Бауер... Никогда не поедут они больше ни в одну

из экспедиций, никогда не сделают ни одного открытия. Не осуществится ничего из того, к чему мы вместе готовились все годы учёбы в университете, то, чему должна была быть посвящена вся жизнь, которая, как казалось перед войной, только начиналась. Имена их будут со скорбью и благодарностью помнить многие люди. Из разведчиков истории они стали её частью. Гордая судьба. Но черта подведена. Неужели никогда не осуществятся, пусть даже не ими самими, их мечты, о которых знали только близкие?

Очень трудное это было время для работы ассистентом кафедры археологии. И вдруг, как ослепительная вспышка... Как будто в новом суровом облике, но вернулось прежнее — разумное, прекрасное, сказочное и в то же время до боли знакомое и реальное... Как будто мы снова вместе, снова едем в экспедицию...

Утром, придя на кафедру, я сказал профессору:

— Я все как следует обдумал. Да, вы правы — надеюсь, что хоть в чем-нибудь я смогу принести пользу. Я твёрдо решил ехать.

Профессор, пробурчав: «Так я и знал», рассказал мне о том, что он успел за это время сделать для подготовки экспедиции. В ней примут участие опытный археолог, работающий в Туркменском филиале Академии наук, Николай Иванович Кремнев и известный историк-востоковед Алексей Владимирович Леонов, недавно с блеском защитивший докторскую диссертацию. Ещё в университете я слышал красочные лекции Леонова, успел проникнуться к нему почтением. О Кремневе я, правда, ничего до сих пор не слышал, но самый факт участия в экспедиции специалиста по Средней Азии был очень обнадеживающим. Все недолгое время, оставшееся до выезда, и всю дорогу я читал не без труда добытые книжки: трёхтомное издание Академии наук «Туркмения», сборник извлечений из работ средневековых арабских и персидских историков и путешественников, касающихся Туркмении.

Наконец на вокзале небольшого города Байрам-Али нас встретил старый знакомый — старший лейтенант Волков, который привоз на кафедру обломок колонны. Тут произошла маленькая заминка. Оказалось, что предназначавшаяся нам машина внезапно вышла из строя, а на обычных машинах по пустыне не проедешь. Приходилось ждать до завтра. Видя наши огорчённые лица, старший лейтенант нерешительно сказал:

— Есть тут у нас ещё одна машина, приспособленная для песков, так то бензовозка.

— Гм, — с недоумением произнёс Леонов. — А разве мы поедем не на верблюдах?

— Да что вы, товарищ профессор, — отозвался Волков, — разве можно? Ведь это и долго и муторно.

Замечу кстати, что, когда недели через две мне поневоле довелось во время охоты на джейранов проделать изрядный путь на верблюде, я, вспоминая, как ездил на верблюде Тартарен, полностью оценил мудрость Волкова.

Конечно, чертовски обидно въезжать в Каракумы на какой-то бензовозке, но ничего не поделаешь. Леонов сел в кабину с шофером, а мы с Кремневым уселись на небольших площадках по обе стороны цистерны с бензином и уцепились за железные поручни.

Быстро промелькнули белые домики, ровные ленты арыков Байрам-Али на фоне руин огромных зданий, и мы въехали в пустыню Каракумы.

Машина шла быстро и ровно. Вокруг, насколько хватал глаз, лежали пески. Тёмно-жёлтые песчаные равнины, светло-жёлтые косые гряды высотой пять-шесть метров, красно-жёлтые холмы — барханы, поверхность которых, вся в мелких крутых извивах, была похожа на

огромную стиральную доску. В резком и сильном солнечном свете, казалось, видна была, как сквозь увеличительное стекло, каждая песчинка. Дул свежий северный ветер, ещё усиленный движением машины. Иногда в песках что-то посверкивало ослепительно, как обломки зеркал. Я невольно подумал: «Почему же Каракумы называются именно Каракумы — чёрные пески? Или иначе их называют — злые пески? Ведь они совсем не чёрные и совсем не злые!»

Возле дороги большой грязно-белый лунь, тяжело взмахивая крыльями, поднимался в безоблачное бледно-голубое небо, зажав в когтях черепаху. Поднявшись очень высоко, он выпустил черепаху, которая полетела вниз и тяжело плюхнулась на бархан. Лунь стремительно опустился вслед за черепахой, ухватил её когтями и снова взмыл кверху. Покружившись, он снова выпустил черепаху. На этот раз она упала на каменный увал. Панцирь раскололся от страшного удара, и лунь, спустившись, стал разрывать клювом обнажившиеся лапы и тело черепахи.

Я все ещё смотрел в ту сторону, где скрылись за барханом лунь и черепаха, когда машина развернулась и затормозила. Среди песчаной равнины стояли две большие палатки и несколько железных бочек.

— Вот и штаб! Приехали! — весело сказал шофер.

«Неказисто», — подумал я.

В это время откуда-то из-под земли появились двое солдат. Мы поздоровались. Внимательно присмотревшись, я увидел, что возле палаток находится с десяток вырытых в песке землянок, потолочные накаты которых едва возвышались над поверхностью. Из одной землянки вышел пожилой офицер с погонями капитана. Подойдя к нам, он хрипловатым голосом сказал:

— Добро пожаловать, товарищи археологи! Разрешите представиться — Иван Михайлович, командир части.

Мы поздоровались и пошли вместе с капитаном к его землянке.

У входа в землянку возле дощатой собачьей конуры сидел, привязанный на верёвке, огромный серый ящер — варан. Варан дремал на солнцепёке. Его приплюснутая голова была сплошь покрыта мелкими щитками брони. Вытянутое тело и длинный хвост с бурыми поперечными полосами украшали круглые и твёрдые, как медали, чешуйки. Вообще вид у варана был весьма заслуженный. Совершенно неподвижный, он казался высеченным из серо-жёлтого камня. Леонов буквально сделал стойку перед вараном и не сводил с него очарованного взгляда.

— Смотрите, смотрите, — обратился к нам Леонов, хотя мы и так не отрывали глаз от варана, — это же химера с собора Парижской богоматери! Это из «Затерянного мира» Конан-Дойля! О, какая необыкновенная изощрённость форм, какое чудовищное и изящное создание! — Говоря это, Леонов наклонился и погладил варана возле хвоста.

— Осторожнее! — Крикнул Иван Михайлович и пояснил отпрянувшему Леонову: — Хвост — самое сильное оружие варана.

Леонов, на этот раз зайдя варану во фронт, слегка наклонился над ним и зашипел: — Вот ты какая злобная тварь.

В это время варан, до того казавшийся каменным, неожиданно тоже зашипел и молниеносно вытянул длинный, раздвоенный на конце, как у змеи, язык, щёлкнул острыми, коническими, загнутыми назад зубами.

— Васька! На место! — Крикнул Иван Михайлович, и варан, как собака, покорно и быстро заковылял в конуру на своих мощных кривых лапах.

— Какая мерзость! — Фальцетом проскрипел Леонов.

— Да нет, что вы! — Ответил Иван Михайлович. — Варан — скотина полезная: уничтожает змей, мышей. Из кожи его делают прочную и красивую обувь, да и мясо вкусное — хотите, угощу?

Но никто из нас как-то не выразил энтузиазма в ответ на предложение Ивана Михайловича, и мы спустились в командирскую землянку.

Мы уселись на деревянные табуретки возле дощатого стола. Иван Михайлович сел на узкую походную койку под большой картой, сплошь исчерченной разноцветными карандашами. Леонов, по праву взявший на себя представительство, красноречиво говорил о задачах экспедиции, об историческом прошлом этого района Средней Азии. Кремнев молчал, за все время только два раза неопределённо хмыкнул, а я присматривался к Ивану Михайловичу, и, честно говоря, он мне не понравился. Я хорошо помнил боевых командиров. Иван Михайлович ничем на них не походил. В его морщинистом лице, в выцветших бледно-голубых глазах и утином носе было что-то не только мирное, но даже, как мне показалось, бабье, и этому впечатлению не противоречили довольно большие, вислые, с сильной проседью усы. Да и фуражка и китель на нем тоже были какие-то морщинистые и выцветшие.

Когда Леонов кончил, Иван Михайлович тихо сказал:

— Спасибо, товарищи, что приехали, и за рассказ спасибо. Мы понимаем, что там что-то важное, а в чем дело — нам не разобраться. Бугор, где найдена колонна, у местных жителей называется Таш-Рабат — каменное селение, слобода, что ли, если на русский перевести.

— А откуда вы знаете туркменский язык, Иван Михайлович? — Перебил я командира.

Иван Михайлович смущенно улыбнулся.

— Да я не так чтобы особенно знаю, но все-таки понимаю. Я ведь родился в Средней Азии. Ещё в 1891 году, во время голода, мои родители сюда вместе с другими крестьянами из Тамбовщины переселились. Так и живем здесь. Да... Так вот. Видимо, на месте Таш-Рабата было в древности большое селение. Только не понять — как же в голой пустыне, без воды люди могли жить. Вот в этом вам и надо разобраться. На Таш-Рабате вам приготовлена большая землянка. Продукты и воду будем доставлять. Хотя и не часто. Я запросил командующего о разрешении предоставить вам солдат для раскопок. Да что-то долго нет ответа. Как только будет — дам солдат. А пока что присмотритесь, располагайтесь там. Может быть, я чем-нибудь смогу помочь.

— Иван Михайлович, — снова обратился к капитану я, — а почему Каракумы так называются — «Чёрные пески»? Они же не чёрные!

— У местных жителей, — задумчиво ответил Иван Михайлович, — чёрными называются заросшие пески, пески, покрытые растительностью. А вот почему Каракумы — почти голые пески — именно так называются, я не знаю.

ТАШ-РАБАТ — КАМЕННЫЙ ГОРОД

Оказалось, что ехать в Таш–Рабат мы можем только на знакомой уже бензовозке, так как предназначенная для нас машина все ещё не приведена в порядок. Иван Михайлович предложил переждать в штабе самые жаркие дневные часы и выехать в Таш–Рабат под вечер. Мы нехотя согласились.

— Эх, — мечтательно сказал Леонов, — в баньке бы попариться после такой дороги! Да уж теперь надолго придется об этом забыть.

— Да нет, что вы! — Отозвался Иван Михайлович. — Можно и в баньке.

Мы с недоумением переглянулись.

— Извольте, — сказал, вставая, Иван Михайлович.

Мы, продолжая с недоверием переглядываться, пошли за ним. Но действительно, в большой землянке находилась баня. В ней была даже парильня с полоком. Вода сама подогревалась солнцем в железных бочках наверху и через шланги шла в баню. Только в парильне раскаливал камни угольный мангал. Это было похоже на чудо: в безводной пустыне Каракумов — баня!

— Да откуда же вы воду берете? — С недоумением спросил Леонов.

— Здесь рядом, — ответил Иван Михайлович, — из верблюжьих колодцев. Пить её человеку невозможно — такая она солёная, до сорока градусов жёсткости, — а мыться можно. Особенно если подмешать к воде золу.

После того как мы с наслаждением помылись, наступило время ехать. Снова сели мы на бензовозку. С нами, на площадке у цистерны, пристроился и Иван Михайлович. Мы тронулись. Но только все изменилось по сравнению с поездкой до штаба. Несмотря на то, что солнце стояло уже низко, была нестерпимая жара. Жаром несло не столько от солнца, сколько от песка. Ветер совсем утих. Моя гимнастёрка потемнела от пота и тут же высохла и стала противно жёсткой. Машина шла медленно, тяжело переваливаясь с холма на холм, буксуя и рыча. Из-за частых и высоких барханов и грядовых песков почти ничего вокруг не было видно. Впрочем, и смотреть-то было не на что. Приходилось изо всех сил цепляться за железные поручни бензовозки.

— Иван Михайлович! — Прокричал я. — Почему так изменился профиль дороги?

— А здесь вообще нет дороги, — ответил Иван Михайлович. — С этой стороны шоссе проведено только до штаба.

Ах, вот оно что! А я и не заметил, что до штаба мы ехали по шоссе.

Вдруг я увидел нечто весьма странное. На крутой бархан резво вкатилось автомобильное колесо и, подпрыгивая, понеслось вниз. Откуда здесь — в девственной и дикой пустыне — колесо? Почему и куда оно катится, недоумевал я. Впрочем, тут же нашёлся ответ: машина наша накренилась и, тяжело проскрипев по песку, встала. Шофер молча выскочил и помчался вслед за колесом. Иван Михайлович, соскочив на песок, пробормотал:

— Да. Тут и шпильки, как ножом, срезает. Пока Иван Михайлович с шофером возились над колесом, а мы им помогали, солнце спустилось ещё ниже. После нескольких часов тяжёлой езды перед нами внезапно открылась необычайная, невиданная картина. Перед огромным черно-коричневым холмом металось, вспыхивало, сверкало море красного и золотистого пламени. Огненные волны избирались до середины холма, опадали, растекаясь, широко и плавно уходя вдаль.

— Иван Михайлович, что это? — Спросил я, не отрывая взгляда от невиданного зрелища.

— Такыр, а за ним Таш–Рабат, — ответил Иван Михайлович.

Как ни соблазнительно было узнать, что такое «такыр», и посмотреть на него вблизи, мы, несмотря на жару и изрядную встряску, полученную за время путешествия, быстро вскарабкались на вершину холма Таш–Рабат. Пока Леонов и Кремнев, предводительствуемые Иваном Михайловичем, направлялись к большой яме в центре холма, я, по уже сложившейся привычке, обошёл плато холма по периметру.

Плато имело приблизительно форму квадрата размером 210 на 216 метров. Значит, общая площадь его более четырёх с половиной гектаров. По всем четырём сторонам квадрата то в одном, то в другом месте из–под песчаного слоя виднелись большие скопления глины, видимо, остатки оплывшего сырцового кирпича или блоков. На плато находилось много засыпанных песком небольших холмиков — вероятно, остатки жилищ или каких–либо других зданий. В разных местах виднелись довольно значительные перекопы — отсюда, видно, издавна брали кирпич. По всему плато встречались полузасыпанные песком крепкие, хорошо обожжённые кирпичи, обломки глиняной посуды — светло–жёлтой и разноцветной, с красочной коричневой, жёлтой, зелёной, чёрной и серой поливой. Закончив осмотр, я присоединился к моим товарищам, которые все ещё находились у ямы в центре плато, и доложил Кремневу как начальнику экспедиции о результатах осмотра. Выслушав меня, Кремнев сказал:

— А теперь взгляните!

В центре ямы, на глубине двух метров из–под слоя песка и жжёного кирпича виднелась часть лежащей на земле колонны, сплошь покрытой резьбой. Глубокие резные изображения розеток, многоугольников, овалов и кружков, вписанных друг в друга, радовали глаз смелой точностью рисунка.

Пока мы рассматривали резьбу, неожиданно стемнело. Мы включили электрические фонарики и спустились в просторную землянку, где уже лежали перенесённые шофером наши вещи. В землянке стоял стол, несколько табуреток, два высокогорлых глиняных кувшина с мелкопористыми стенками, три походные кровати, накрытые кошмами, поверх которых лежали кисейные накомарники.

Иван Михайлович положил на стол большую карту, где крестиком был отмечен Таш–Рабат. Я выложил собранные образцы древней посуды.

— Перед нами городище с мощными глинобитными стенами, — сказал Кремнев. — Возможно, город, хотя не всякое укреплённое поселение было городом. В центре — большое здание, видимо, главное здание на поселении. Назначение его пока неясно. Судя по керамике, поселение было обитаемо с девятого века до двенадцатого. Вот здесь поливная керамика трёх основных видов. Первая выделялась в девятом — десятом веках, в эпоху царствования в Иране династии Саманидов. Вторая группа относится к одиннадцатому веку, к эпохе, переходной от династии Саманидов к династии царей Караханидов и ко времени расцвета Хорезмийского государства, находившегося в Кызылкумах, на территории нынешней Кара–Калпакии. Третья группа относится к двенадцатому веку — ко времени правления туркменской династии Сельджуков, под власть которых в это время перешла вся Средняя Азия.

— Вам, Георгий Борисович, — обратился ко мне Кремнев, — поручается вести сбор, описание и подсчёт керамики. Необходимо выявить все характерные формы, проследить особенности керамики, а также выяснить количественное соотношение между этими тремя основными группами. Мы с Алексеем Владимировичем будем заниматься изучением остатков центрального здания. Помните, товарищи, что нам предстоит впервые изучение средневекового поселения в юго–восточных Каракумах.

Иван Михайлович предложил сделать перерыв и поужинать. У нас с собой была захваченная ещё в городе еда, которая послужила дополнением к довольно скудному армейскому пайку.

— Иван Михайлович, — спросил я, — почему кувшины для воды пористые?

— Сквозь поры при сильной жаре выделяется влага, и вода в кувшине остается прохладной, — ответил капитан.

. — А зачем накомарные пологи? Разве здесь есть комары?

— Комаров нет, но есть другая нечисть, похуже.

Как раз в это время я увидел на столе маленького, длиной не более сантиметра, паучка. У него было круглое чёрное бархатистое брюшко, на котором ярко выделялись краевые пятнышки, окружённые белой кеемкой. Паучок был очень красивый.

— Что это? — Спросил я и протянул к паучку руку.

Но Иван Михайлович опередил меня: мягким и точным, каким-то кошачьим движением накрыл паучка коробкой «Казбека» и раздавил. После этого, отерев выступивший на лице пот, он сказал:

— Это каракурт — самое ядовитое насекомое пустыни. Верблюд умирает от укуса каракурта через несколько минут, человек — через несколько часов. Эти мерзкие твари уничтожают даже друг друга. После спаривания самка убивает самца, разрывает его на части и пожирает. Вот от таких и нужны накомарники и кошмы на кровати. Завёртывайте полог на ночь, концы засовывайте под кошму.

За столом воцарилось молчание, которое прервал я, неожиданно для самого себя пробормотав забывшуюся мне бессмысленную фразу о каракуртах из сочинения путешественника XVIII века Самуила Гмелина: «Сия тарантула наипаче муку причиняет верблюдам, ибо когда они летом линяют, то она их любит уязвлять».

— Да, верблюды, — отозвался Иван Михайлович. — Это был самец. Самка в полтора раза больше и в сто шестьдесят раз ядовитее. Только каракурт никогда не нападает первым. Но, если его заденешь, кусает немедленно.

После этого мы с полчаса ползали по всей землянке с фонариками и светцом из снарядной гильзы, но больше каракуртов, к счастью, не обнаружили.

Пожелав нам спокойной ночи, Иван Михайлович вскоре собрался уезжать. Я вышел его проводить. Когда мы взобрались на гребень вала — остатки стен городища, я снова был потрясен такыром, который совершенно изменился. Теперь, ярко освещённый огромной азиатской луной, такыр сверкал и переливался голубоватым и зелёным пламенем, которое то клубилось, то набегало на подножие холма широкими крутыми волнами.

— Что такое такыр, Иван Михайлович? — спросил я.

Мы спустились вниз.

— Никто не знает точно, что такое такыр, — отозвался Иван Михайлович. — В древних долинах, на пониженных участках равнины, образуются ровные глинистые пространства, часто овальной формы. Поверхность их покрыта тонким глинистым осадком. И вблизи такыр оказался совершенно необычайным. Плотная блестящая поверхность его состояла из небольших, очень чётких многоугольных плиток.

Видя моё недоумение, Иван Михайлович пояснил:

— Поверхность такыров почти не пропускает влаги. Весной, во время дождей, такыры превращаются в мелкие мутные озера. Потом вода высыхает и поверхность растрескивается. Трещины заплывают, потом снова образуются. Так и получается знаменитый такырный паркет. Этот такыр красного цвета и довольно сильно засолён. Но бывают и розовые, серые или белые и почти не засоленные. Днём кристаллы соли, вкрапленные в глину, отражают солнце, и тогда кажется, что такыр охвачен красным пламенем, ночью — под светом луны — такыры зелёные и голубые.

Иван Михайлович попрощался и уехал, а я долго смотрел, как прыгал по барханам все более далёкий свет фар его бензовозки.

Наверняка Иван Михайлович все правильно объяснил мне о такырах, но только я ничуть не удивился бы, если б на этом безупречно ровном и блестящем паркете под звуки неслышимой музыки заскользили в фантастическом танце невиданные пары.

Потом я ещё долгое время простоял на валу Таш–Рабата, и тут–то впервые сказочное очарование пустыни коснулось меня.

Стояла неслыханная, невозможная тишина. Внизу металось голубое беззвучное пламя такыра. Струи холодного ночного воздуха обвевали меня. Низко нависло чёрное бархатное азиатское небо с огромными, яркими звёздами. Некоторые из них, оставляя еле заметный голубоватый след, срывались с неба и падали вдалеке. Свет всех этих звёзд проходил через моё сердце. Я слышал, отчётливо слышал мягкое шуршание вращающегося земного шара, движение планет, я ощущал безмерность пространства и времени, я сам был частью этой безмерности, частью вечности и бесконечности миров... Кто хоть раз был в пустыне один — поймёт меня. Добравшись наконец до койки и не забыв подоткнуть полы накомарника, я, по давней привычке спать где угодно и на чем угодно, тут же крепко уснул и проснулся от режущего солнечного луча, проходившего сквозь узенькое оконце, и от скрипучего голоса Кремнева: — Надо начинать, пока не жарко.

## ГДЕ ЖЕ ДУША ШАХА?

Наскоро позавтракав, мы отправились на работу. Кремнев и Леонов — к яме с колонной, я — с рюкзаком собирать керамику. Время от времени я высыпал на пол землянки кучу керамики и снова уходил в обход городища. Каждый такой поход давался труднее, потому что становилось всё жарче и жарче.

Сначала я останавливался, смотрел на ящериц–круглоголовок, большеглазых, с мелкими острыми зубами и чешуйчатым туловищем. Если в круглоголовку кинуть камешек, то она топорщится, надувает шею, выворачивает нечто вроде больших красных жабер и впрямь становится довольно страшной. Но этим и исчерпываются все её возможности защиты. А вообще–то говоря, это безобидное и даже полезное создание, потому что оно во множестве уничтожает вредных насекомых.

К полудню я уже не приставал к круглоголовкам — не до того было. Пот заливал глаза. Жара стояла нестерпимая. Я с ненавистью глядел сквозь тёмные очки на блеклое, безжалостное, безликое каракумское небо.

Днем по распоряжению Кремнева мы прекратили работу на городище из–за нестерпимой жары и закрылись в землянке. Там мы с Кремневым разбирали керамику по группам, шифровали и подсчитывали её, а Леонов, лежа на койке, прочел нам небольшую лекцию. Он говорил красиво, немного кокетливо, но очень точно, свободно цитируя на память древних



авторов.

— Туркмены, — начал Алексей Владимирович, — предки тюркских кочевников огузов и ассимилированных ими ираноязычных народов. Само название «туркмен» легенда связывает с Александром Македонским — Искандером, или Двурогим, как его называли на Востоке. Впрочем, с именем Александра Македонского связано здесь множество легенд. Рассказывают, что, когда после завоевания Самарканда Александр двинулся к долине реки Чу, он по дороге встретил двух огузов и сказал о них по-персидски: «Турк маненд» («Они похожи на турок»). Так и осталось за потомками этих людей имя туркмен.

— Вы считаете, что именно так и было? — Спросил я Леонова.

Алексей Владимирович иронически улыбнулся:

— Я же подчеркнул, что пересказываю легенду. В научной литературе слово «туркмен» впервые употребляется в десятом веке арабским историком Макдиси. Наш достопочтенный Николай Иванович по керамике определил, что поселение Таш-Рабат было обитаемо с девятого по двенадцатый век. В это время на территории Туркмении коренные жители страны — кочевники-огузы, или туркмены, боролись против двух мощных мусульманских государств: Ирана, в котором правили шахи из династии Саманидов, а затем Карахалипов, и Арабского халифата, эмиры которого (наместники султана) постепенно захватывали самые лучшие земли Туркмении. Туркмены приняли мусульманство, во многих оазисах выросли города. Жестокие поборы государственных чиновников не раз заставляли туркмен восставать. Около середины одиннадцатого века в результате одного из таких восстаний войска арабского эмира были разгромлены, и власть над Средней Азией перешла к новой, чисто туркменской династии Сельджуков. Придя к власти, Сельджуки быстро забыли, кому они обязаны своим возвышением, стали равнодушными к судьбе своего народа и принялись, как и прежние властители, угнетать кочевников-туркмен. Новое восстание туркмен в начале второй половины двенадцатого века положило конец власти и этой династии. В борьбе за обладание Туркменией активное участие принимало и Хорезмийское государство.

Каракумы — величайшая в Советском Союзе пустыня, занимает четыре пятых территории Туркмении. Мы находимся в юго-восточных Каракумах, состоящих из Мервского и Тедженского округов, на территории древней исторической области Хоросан. До всепокрушающего нашествия монголов в Хоросане существовало много городов, в которых расцветала своеобразная культура арабов, персов, собственно туркмен. Высокого уровня достигло в Хоросане развитие художественных ремёсел, например, и до сих пор мировую славу имеют хоросанские ковры. Хоросан во всех направлениях пересекали караванные тропы, связывающие между собой различные города — Серахс, Мерв, Теджен и другие. А многие из них сейчас не существуют, и даже место, на котором они стояли, неизвестно. Средневековые арабские и персидские учёные и путешественники не жалеют красок для описания красот Хоросанской области. Так, например, Макдиси, о котором я уже говорил, утверждает, что в Хоросанской области «...больше наук и законоведения, чем в других областях; у проповедников её удивительная слава, у жителей её большие богатства. В ней много евреев, мало христиан и есть разные виды магов, но нет больных слоновой болезнью и они её не знают». Как видите, здесь все перемешано в одну кучу — от медицины до проповедей, но описание восторженное.

Среди городов Хоросана особенно славился город Мерв. Мерв, который долгое время был резиденцией правителей Хоросана, называли душой шаха — Шахиджан. Этот город существует и поныне, мы проезжали его по пути.

— Какой же город? — С недоумением спросил я.

— Мерв — нынешние Мары, — с улыбкой ответил Леонов, и я с разочарованием вспомнил

небольшой и неказистый городок, промелькнувший в окне вагона.

— Да нет, Алексей Владимирович, — вдруг вмешался Кремнев, — древний Мерв находился не там, где теперешний Мерв, а на месте города Байрам–Али, там и сейчас видны его развалины. Помните, мы их видели, когда выезжали в штаб.

— Знаю, знаю, милейший Николай Иванович, и такую гипотезу, — ответил Леонов. — Но только это маловероятно. Сама гипотеза — результат ограниченности знаний археологов. Не смогли связать развалины у Байрам–Али с точно известным в древности городом, вот и объявили их древним Мервом. А вам бы следовало провести раскопки на месте настоящего Мерва. Там ведь никто не копал. А я уверен, что там будет найден культурный слой Мерва Шахиджана.

Кремнев промолчал, а Леонов продолжал, все более воодушевляясь:

— Тот же Макдиси писал: «Мерв Шахиджан — старинный город, построил его Искандер. Ибн–Аббас сказал: «Да, город Мерв построил Двурогий... Нет в нем ворот, у которых бы не стоял ангел с обнажённым мечом, защищающий его от зла. Мать городов в Хиджасе — Мекка, а в Хоросане — Мерв. Мерв, известный под именем Мерв Шахиджан, — город процветающий, со здоровым климатом, изящный, блестящий, просторный, малонаселённый, пища в нем вкусная и чистая, жилища красивые и высокие».

Другой восточный автор — Ал–Якуби отзывался о Мерве не менее восторженно, называя его самым известным из городов Хоросана. В Мерве, как он говорил, жили благороднейшие из дехкан Персии, группы арабов из племени азд, темим и другие.

Большим, населённым и известным городом называют восточные авторы и Серахс. Приблизительно между Мервом и Серахсом мы сейчас и находимся. К сожалению, из сочинений средневековых восточных авторов мы знаем только факты политической и военной истории, и то далеко не все самые важные. Судьбы городов Хоросана, их архитектуру, уровень культуры и производства мы можем узнать только при помощи раскопок. То, чем мы занимаемся в Таш–Рабате, — первая попытка проникнуть в историю средневековых поселений юго–восточных Каракумов, в историю их населения.

Пока Леонов говорил, мы успели с Кремневым разобрать по группам всю керамику и зашифровать её.

После обеда нужно было снова отправляться на городище. Когда я натянул на плечи рюкзак и вышел из землянки, то чуть не задохнулся от зноя и сухого тумана из мельчайших частичек песка и пыли, поднятых ветром. Видно было очень плохо. Песок под ногами и песчинки тумана были раскалены. Леонов и Кремнев казались силуэтами, которые постепенно растаяли в тумане по направлению к центру городища. Когда вечером я дотащился с последней ношей керамики до землянки, у меня болела голова, слезились глаза от песка, что–то саднило в груди. Не поужинав, я разделся и, свалившись на койку, сразу же уснул. Не заметил, но думаю, что и у моих товарищей по экспедиции состояние было не лучше.

Потом в течение нескольких дней мы собирали керамику, расчищали остатки колонны, снимали план поселения, пока среди бела дня опять не поднялся проклятый сильный ветер и сухой туман. Он застал меня довольно далеко от землянки и был каким–то особенно свирепым. Последние три–четыре метра я полз с забитыми песком глазами, все время откашливаясь. Резко похолодало. Когда я находился уже у самой землянки, вдруг раздался сильный взрыв, и что–то просвистело у меня над ухом. Разбираться было некогда, да и невозможно. Я влез в землянку, где уже находились Кремнев и Леонов, и плотно закрыл дверь. Мы забрались под одеяла, но все равно мельчайшие частицы песка проникали сквозь закрытую дверь, забивались под одеяло, забивались в лёгкие.

Первым выбрался из-под одеяла Леонов и, сверкая золотыми зубами, стал рассказывать историю своей первой студенческой любви. Рассказывал он с милым юмором, так непринужденно и элегантно, как будто мы все находились в какой-нибудь уютной московской квартире. Иногда Леонов небрежным щелчком сбивал с рубашки одну из бесчисленных песчинок, как сбивают пушинку, случайно севшую на вечерний чёрный костюм. Я смотрел на Алексея Владимировича с невольным обожанием.

Наконец туман рассеялся, ветер утих, и мы, не без труда открыв засыпанную песком дверь, вылезли. У дверей землянки лежал разбитый на сотни кусков хум — огромный глиняный кувшинообразный сосуд, высотой более полутора метров. Хумы служили для хранения в кладовых зерна и различных припасов. Этот хум совершенно целым выкопали позавчера Леонов и Кремнев. Леонов собственноручно с торжеством притащил его к нашей землянке, кряхтя под тяжестью, но не принимая ничьей помощи. Кто же разбил хум? Ведь на много десятков километров вокруг, кроме нас, не было ни души?

Кремнев, почесываясь, нерешительно сказал: — Хум сильно нагрелся на солнце. А когда из-за налетевшего северного ветра неожиданно похолодало, произошло сильное сжатие глины, вот он и лопнул. Это и был взрыв.

Я не знаю, так ли было на самом деле, но другого объяснения никто из нас не мог придумать.

В этот вечер мы долго вытряхивали песок из постелей и из одежды и почти не работали. Следующее утро было ясным и не жарким. С наслаждением потягиваясь, я вышел из землянки и обрадовано сказал:

— Посмотрите, весь песок, который вчера засыпал вход, очистился.

— Вот именно — очистился, — пробормотал Кремнев.

Я взглянул на его натруженные красные руки, и мне стало невыносимо стыдно. Я всегда в экспедиции старался точно и добросовестно выполнять все, что мне поручали. А вот оказалось, что этого совершенно недостаточно.

Наконец прибыли солдаты, которых привез Иван Михайлович. Он объявил, что солдат каждый день на восемь часов землекопной работы будет привозить машина, что командование разрешило выделить нам взвод саперов. В центре поселения, вокруг ямы, был заложен большой прямоугольный раскоп площадью более 250 квадратных метров.

Я все ещё продолжал собирать, классифицировать и подсчитывать керамику. Тысячи черепков прошли через мои руки. На всю жизнь запомнились мне три группы поливной керамики: поливная саманидская — чашечки и пиалы разных размеров, на белом фоне которых темно-коричневая или чёрная роспись — художественно исполненные куфические надписи; хорезмийская — многоцветная, с белым, красным, чёрным и светло-жёлтым фоном и керамика времён Сельджуков — сосуды со светло-зелёным фоном и резным линейным орнаментом под поливой и чёрной росписью.

Я был благодарен Кремневу за то, что он поручил мне эту работу. Много лет спустя, работая на средневековых поселениях низовьев Днестра и Дуная в Северном Причерноморье, за тысячи километров от Таш-Рабата, я находил среднеазиатскую керамику и по ней легко устанавливал связи этих поселений со Средней Азией и время существования этих связей.

Подсчёты различных групп поливной керамики из Таш-Рабата дали нам возможность сделать довольно важные выводы. Больше всего оказалось керамики X и XI веков. Видимо, это и был период расцвета жизни города. Меньше всего — керамики XII века. Видимо, это не только последний период обитания поселения, но и время упадка жизни в нём.

Удивительно интересной и разнообразной оказалась и неполивная керамика — от огромных хумов с толстыми стенками, высоким горлом и пояском из ямок по венчику до миниатюрных кувшинчиков. Эти кувшинчики, у которых стенки были чуть толще бумажного листа, отличались удивительной красотой и изяществом, безупречной формой и качеством выделки. Если щёлкнешь по краю такого кувшинчика, то он издаёт звук, похожий на звон хрустального бокала. На стенках кувшинов были вырезаны вереницы бегущих друг за другом вислоухих зайчиков, растения, какие-то фантастические головки.

— Алексей Владимирович, — настырно приставал я к Леонову, — ведь поселение мусульманское. А мусульманам, по Корану, запрещалось изображать людей и животных. Откуда же на кувшинах зайчики? Леонов морщился и отвечал:

— Наверное, они были порядочными богохульниками. Будьте снисходительны к человеческим слабостям, мой друг. Зайчики такие миленькие — ну как тут не изобразить. А к тому же, помните, ещё Ал-Якуби говорил, что в Мерве жили люди разных народов и племён. Так же могло быть и на Таш-Рабате. При таком смешанном населении законы корана не соблюдались строго.

Я, положим, совершенно не помнил, что именно по этому поводу сказано у Ал-Якуби, но мысль Леонова была очень интересной.

Работы на главном раскопе, «Раскопе колонны», как мы его называли, развернулись полным ходом. Кроме того, с помощью солдат мы получили возможность разбить ещё два небольших раскопа неподалёку от главного. Жизнь на поселении, прекратившаяся восемьсот лет назад, снова закипела.

Впрочем, с солдатами было и немало трудностей. Среди них встречались новобранцы из дальних аулов, которым трудно было объяснить, чем мы занимаемся и для чего все это нужно. Они подозревали, что мы ищем золотые клады, и хотели иметь долю в доходах. Переубедить их было почти невозможно. А потом, когда в двух кувшинчиках с резным орнаментом, которые мы нашли, оказалось несколько золотых сельджукских монет XII века, подозрения этих солдат превратились в твёрдую уверенность. Они потребовали себе часть монет. Мы объяснили, что все найденное при раскопках — государственная собственность. Но это объяснение их не удовлетворяло. И вот я увидел как-то, что один солдат, спрятавшись за небольшим холмиком, вытащил из-за пазухи целый, видимо, только что найденный кувшинчик и разбил его о камень. Я закричал от негодования, солдат убежал за барханы.

Все это было ужасно. Золотые сельджукские монеты не имеют почти никакой ценности для науки — они хорошо известны, их много в разных музеях. А целые кувшинчики с резным орнаментом — огромная научная и художественная ценность. Как предотвратить их варварское уничтожение? За всеми не уследишь, наказаниями тут не поможешь. Мы ещё более усердно стали разъяснять солдатам научное значение раскопок и объявили большую премию за каждый найденный целый кувшинчик. После этого уничтожение кувшинчиков прекратилось, но я ещё долго без ненависти не мог смотреть на золотые сельджукские монеты. Впрочем, они, как и медные монеты, которые мы находили, все же сослужили нам хорошую службу.

Самые поздние монеты из найденных в Таш-Рабате были чеканены в 1157 году, если перевести мусульманское летосчисление на наше. Видимо, 1157 год и был последним годом обитания поселения. Это уже очень важная дата.

Культурный слой поселения, находившийся под горами песка, имел в толщину от 1,5 до 2,5 метра и был очень сильно насыщен керамикой и различными предметами. Мы находили в небольших раскопках и шурфах интересные вещи, сделанные из железа, бронзы, из кости, из

камня и стекла. Особенно удивительными были круглые, с удлинёнными носиками светильники из мрамора и стеатита — серого с прожилками камня, с каким-то тёплым, живым тоном. Очень интересны были и сфероконусы, которых мы нашли сотни. Это такие толстостенные глиняные сосуды, у которых нижняя часть вытянутая, а верхняя круглая, с очень узким отверстием. Никто толком не знает, что такое сфероконусы. О назначении их есть много гипотез. Самое правдоподобное, что сфероконусы служили для перевозки и хранения ртути и красок, но есть и предположения, что это были зажигательные снаряды.

Нефть с глубокой древности была известна в Прикаспийском крае, в Иране и вообще в Средней Азии. Её принимали за особого рода масло и умели перегонять. Эта операция называлась «такыр». Может быть, нефть заливали в сфероконусы, поджигали с помощью фитиля, руками или катапультной забрасывали внутрь осаждаемых городов. На каменных плитах мостовой или на плоских крышах домов сфероконус прыгал, разбрасывая горящую нефть.

На одном из сфероконусов была вырезана надпись: «Фатх» — «Победа». Мы не удержались, наполнили один из сфероконусов керосином, подожгли и сбросили на такыр с вала города. Сфероконус прыгал как мяч, исправно разбрасывая керосин.

В раскопках было найдено много разнообразного оружия — больше всего сабель и кинжалов, а также человеческие скелеты, лежавшие в самых неестественных позах. Видимо, последние часы жизни поселения были связаны с жестокой битвой.

В «Раскопе колонны» под двухметровой толщей песка, кирпича, кусков алебаstra показались новые колонны, сплошь покрытые художественной резьбой по алебастру. Это величественное здание, орудия труда различных ремесленников и монеты, найденные при раскопках, — все показывало, что перед нами ещё неизвестный город, именно город — центр развития товарного производства и торговли. Мы не знали ещё имени этого города, мы только-только заглянули в него и определили, что он возник в IX, может быть, в VIII веке и погиб в результате битвы в XII веке.

Леонов, который впервые работал в археологической экспедиции, шумно восторгался и восхищался при каждой новой находке.

Мне как археологу было лестно такое восхищение, но что-то меня в этих шумных восторгах раздражало. Я долго раздумывал об этом. В конце концов у меня появилась смутная догадка, что Леонов восхищается не только потому, что действительно восхищается, но и потому, что, как историк, он чувствует себя обязанным восхищаться. К сожалению, эта догадка вскоре самым неожиданным образом подтвердилась.

Как-то, когда мы беседовали с Иваном Михайловичем и несколькими солдатами, примчался крайне возбужденный Леонов и принялся кричать, размахивая перед носом Ивана Михайловича обломком белой пиалы:

— Вы посмотрите, какая прелесть. Это я сам только что нашел! Какая белизна! Какая тонкость! Это шедевр саманидской керамики!

Приглядевшись, я выхватил из рук Леонова обломок пиалы и, зажав пальцем красный кружок на доньшке, сказал:

— Алексей Владимирович, я должен немедленно зашифровать находку, — и тут же сунул её в карман.

Леонов с обидой посмотрел на меня и пожал плечами. Я же, отойдя за ближайший холмик, закопал пиалу в песок.

Дело в том, что в красном кружке отчётливо были видны буквы: «Л.Ф.З.» Неплохо. В известной степени «открытие» Леонова даже делает честь ленинградскому фарфоровому заводу имени Ломоносова.

Но, вообще-то говоря, Леонова все, в том числе и солдаты, полюбили. Он отлично знал историю Средней Азии и рассказывал о ней так красочно и увлекательно, что можно было слушать часами.

Мы с Кремневым тоже подружились с нашими рабочими-солдатами. Правда, по моей вине, эта дружба чуть не нарушилась.

Дело в том, что наш армейский паёк был довольно скудным. Обнаружив как-то среди барханов несколько черепах, я поймал их, сложил в авоську и, мечтая о черепаховом супе, пошёл к землянке. По дороге встретил одного из солдат. Берды, который спросил меня, куда я несу черепах. Я ответил, что хочу их съесть. Берды как-то странно посмотрел на меня и, процедив сквозь зубы: «Глупы шутки», — резко отвернулся. Потом Иван Михайлович объяснил мне, что черепаха у туркмен считается священным животным, и, если они узнают, что я причинил черепахам вред, а тем более питаюсь ими, со мной даже разговаривать не будут. Пришлось ловить черепах тайно, держать их в землянке в яме под фанерой и готовить по вечерам, когда солдаты уезжали. Совсем отказаться от них было невозможно.

В общем-то мы постепенно обживались в Каракумах. Все оставалось на месте: жара, сухие туманы из раскалённой песчаной пыли и всякая мерзость, вроде каракуртов, фаланг и змей. Просто мы научились приспособливаться. Со всякими ядовитыми насекомыми и гадами мы заключали и свято соблюдали договор о мирном сосуществовании и не трогали друг друга, правда, не забывая на ночь осматривать землянку и укрываться пологам.

К тем коленцам, которые выкидывала сама пустыня, мы тоже кое-как применились.

И вдруг случилось, как мне тогда думалось, непоправимое.

## ТОГРУЛ

Время от времени Кремнев посылал меня в город за материалами. Путь был нелёгкий. Однажды, во время такой поездки, в ожидании транспорта для отправки в экспедицию, я застрял в городе на целый день.

Получив и упаковав все материалы, я пошёл побродить по рынку. Жара была такая, что даже неугомонный базар замер. На блеклом от зноя небе — ни облачка. Раскалённые глыбы плотного, пахучего воздуха неподвижно нависли над рынком. Спрятаться некуда. Палящие лучи выжгли пот, лицо горит, а рубашка затвердела, как панцирь. Каждая ворсинка на ней окаменела, и от этого все тело покалывает, словно в него воткнули тысячи маленьких булавок. Нет сил двигаться. За длинными зелёными прилавками дремлют полнотелые туркменские продавщицы в ярких халатах, склонив высокие красные тюрбаны, покрытые медными украшениями, на груды лука, редиски, дынь и другой снеди. У ног их, свернувшись калачиками, застыли оборванные, взлохмаченные юные базарные воришки. Идиллическая картина всеобщего мира перед лицом стихийного бедствия!

Уронив голову на баранку, полулежит на жёстком сиденье «виллиса», не то заснув, не то потеряв сознание, какой-то лейтенант. Устав, я присел на камень под навесом у чайханы. Это — единственное место, где была тень и чувствовалось какое-то движение. Из открытой двери чайханы валил пар. Когда он немного рассеивался, видны были десятки сидящих на

циновках расплывшихся фигур. В большинстве это были совсем ещё молодые ребята, из тех, что ходят в шинелях и мечтают об оружии и конях — сражаться с фашистами и вообще прославиться, как полагается джигиту. Но срок им ещё не вышел, и, по местным обычаям, они коротают свободное время в чайхане. Сняв громадные бараньи шапки и оставшись в одних чёрных тюбетейках, до одури наливаются они крепким зелёным чаем.

Окна чайханы потные, как в бане, а у двери, прислонившись к косяку, стоит громадный швейцар с равнодушным толстым лицом.

Прямо напротив чайханы, слегка облокотившись на прилавок, неподвижно стоит высокий молодой туркмен в малиновом шёлковом халате, туго перехваченном в талии тонким ременным пояском.

Под громадной, ослепительно белой папахой, словно выточенное из яшмы, строгое, неподвижное лицо, отделённое от папахи узкой полоской чёрных, гладких волос. Глаза туркмена закрыты, и только продолговатые веки с длинными, как у женщины, ресницами время от времени вздрагивают. Обманчиво его спокойствие.

Я знаю его. Это Ахмет, племянник нашего Берды и младший брат чабана Байрама, недавно погибшего на фронте. Вместе с извещением о смерти семья его получила в красной коробочке орден Отечественной войны II степени, которым был награждён Байрам. Ахмет взял орден себе и носит его под халатом, прикрепив прямо к нательной рубашке. Древний закон предков велит мстить за брата, за его кровь. Честолюбие и жажда мести, ещё не утолённые, горькое сознание невозможности этой мести наполняют молодого туркмена. Из-за молодости его не берут в армию, и это кажется ему страшной несправедливостью, обидой и позором.

Всеобщее оцепенение.

Но вот из-за полуразрушенной глинобитной ограды показался всадник в белой милицейской форме. Милиционер ехал по-кавалерийски, свечкой вытянувшись в седле и держа слегка на весу поддрагивающие локти. Это был постовой с холмов, давнишний тамбовский переселенец Токарев. Ни всадник, ни конь, словно не чувствовали жары. Веснушчатое, круглое лицо Токарева, как обычно, расплылось широкой, немного глуповатой улыбкой, а ясные синие глаза смотрели приветливо и с хитрецей. Конь дробно перебирал стройными, тонкими ногами в высоких белых чулочках, косил то в одну, то в другую сторону влажные блестящие агатовые глаза, мощные мышцы его играли под тонкой, лоснящейся кожей.

Это был Тогрул, настоящий ахалтекинский жеребец чистых кровей, каких и в самой Туркмении не так много. Поджарый вороной красавец, с длинной изящно изогнутой шеей, с дымчатым хвостом и такой же дымчатой неподстриженной гривой. Тогрул родился на госзаводе колченогим. Его выбраковали и должны были уничтожить, но Токарев выпросил жеребенка себе, вынянчил и вылечил на диво, какими-то только одному ему — прирождённому коновалу — известными средствами.

У чайханы Токарев спешил, с хозяйственной заботливостью сорокалетнего холостяка отвел коня под навес в тень, похлопал его по крутой шее и набросил повод на вбитый в стену костыль. Безмятежно сдвинув на бритый, розовый затылок форменную фуражку, он вошёл в чайхану.

Приезд его немного развлек меня, но жара снова взяла своё, и я опять было погрузился в дрему, да вдруг что-то мягко шлёпнуло меня по лицу, и я услышал резкий, пронзительный свист.

Я вскочил, и словно видение промелькнуло предо мной: молодой туркмен с развевающимися полами малинового халата, без шапки, валявшейся у моих ног, с пьяными от счастья глазами,

верхом на вздыбленном Тогруле.

Конь легко перемахнул через прилавок с заснувшими продавщицами и, широко развевая дымчатый пушистый хвост, понёсся по широкой улице прямо в пески Каракумов.

Токарев, словно большой белый шар, выкатился на крыльцо чайханы, сплюнул перед собой, сделал ещё шаг вперёд и остановился, как будто раздумывал. Через секунду он досадливо махнул рукой, пробормотал какое-то ругательство и с неожиданной быстротой, вперевалку побежал к «виллису», хлопнул по плечу недоуменно озирающегося, неочухавшегося ещё лейтенанта и что-то тихо сказал ему. Лейтенант кивнул головой и нажал стартер. Токарев махнул мне рукой и закричал:

— А ну, помогай!

Я побежал и едва успел перевалиться через борт рванувшейся вперёд машины. Сзади, вслед нам слышались чьи-то насмешливые и злобные крики, но оглядываться было некогда. «Виллис», набирая скорость и подпрыгивая на взбугренной жарой дороге, вылетел в песчаный океан Каракумов.

На спёкшемся солончаковом, твёрдом покрове песка ясно отпечатывались следы копыт. Лейтенант дал полный газ, и машина, вздрогнув и заревев, рванулась вперёд. Горячий воздух бил в лицо, машину бросало из стороны в сторону, а мы только старались удержаться, хватаясь за жёсткие, раскалённые борта.

Вдруг Токарев тонким голосом закричал:

— Вот он!

Далеко впереди на ровном, ослепительно жёлтом песчаном поле чётко выделялся всадник. Вскоре уже хорошо стал виден длинный круп, вспыхивающие на солнце подковы и малиновый халат всадника, припавшего к шее коня.

— Стреляй! — Хрипло закричал лейтенант, дрожа от возбуждения. — Стреляй, чёрт тебя поberi!

Милиционер только досадливо махнул головой, не отвечая, и, приподнявшись с сиденья, не отрываясь, смотрел за всадником.

Вдруг частые, сильные удары забили в ветровое стекло, и я увидел быстро приближающуюся к нам вихревую чёрную стену, которая закрыла полнеба.

— Афганец! — Испуганно воскликнул лейтенант и пригнулся к рулю.

А Токарев, вытянувшись во весь рост и размахивая руками, не своим голосом завопил:

— Заворачивай, заворачивай! Клади коня! — Но, сбитый порывом ветра, тяжело упал на дно машины и закашлялся, выплёвывая комки крупного, похрустывающего песка.

Ураган из Афганистана, подняв тучи раскалённого песка и пыли, бушевал вовсю по туркменской равнине. Дикий вой раздавался вокруг, видимость уменьшалась с каждой секундой, чёрная стена закрывшего солнце песка падала на нас. Побледневший лейтенант круто развернул машину назад, но песок и ветер били её по бортам, мотор дрожал и потрескивал, колеса буксовали, и мы еле двигались,

— Не успеем, дурак! — Закричал Токарев. — Давай за бархан!

Лейтенант поднял на него красные, забитые песком, невидящие глаза. Токарев перегнулся



через сиденье, схватился за баранку и повернул вбок за громадный, ребристый бархан. Там ветер был тише. Мы вылезли из «Виллиса», повернули машину и на корточках забрались под неё. Больше часа бушевал афганец. Он дико завывал и обрушивал на машину груды песка. Потом вдруг сразу все стихло. Неожиданно стало очень холодно. Отплёвываясь и протирая глаза, мы откопались, вылезли, с трудом снова повернули машину.

Вокруг, как и час назад, был полный покой. На небе ни облачка, в воздухе ни песчинки. Только на горизонте громадное красное полушарие заходящего солнца. В его огненных лучах чётко выделялись два стройных силуэта: коня и стоящего рядом человека.

Мы подъехали, вылезли из машины и молча подошли к ним. Ахмет стоял неподвижно, опустив голову, с безжизненно висящими вдоль тела руками, и пристально смотрел прямо перед собой на окровавленный закатом песок.

Конь, не отрывая ног от земли, весь дрожал мелкой, прерывистой дрожью. В глубине обеих глазниц его, начисто вылизанных ураганом, запеклась чёрная, перемешанная с песком кровь. Глаза вытекли. Тогрул ослеп навсегда.

Токарев подошёл к коню, который, почуяв хозяина, потянулся к нему мордой и заржал. Токарев, кривясь, дрожащими толстыми пальцами достал из кобуры наган. Он вложил его в ухо коню и быстро нажал курок. Глухой звук выстрела... Тогрул повалился на песок, повел тонкими ногами в нарядных белых чулочках и замер.

Токарев подошёл к туркмену, положил ему руку на плечо и сказал тихо — не то брезгливо, не то с жалостью:

— Эх ты, басмач! Загубил коня!

Ахмет поднял на него потухшие грифельные глаза и вдруг, рванув отворот шёлкового халата, длинными пальцами обеих рук вцепился самому себе в горло.

Мы посадили его в машину и поехали в город.

## ПИОНЕРЫ ПУСТЫНИ

Не помню, как я вернулся в экспедицию. Наверное, мне было очень плохо последующие два дня, потому что я не выходил из землянки и пил гораздо больше воды, чем полагается пить в Каракумах. Когда я все же вышел, то не мог без ненависти смотреть на звериный лик пустыни, которая как раз в это утро притворялась спокойной, ясной, нежаркой.

— Вы, Георгий Борисович, вот что... — сказал мне Кремнев. — Тут у нас пару дней Иван Михайлович побудет, так вы с ним походите по пустыне вокруг городища.

— Как это — походить по пустыне? — Спросил я. — Зачем?

— А вот так и походите, — не допускающим возражений тоном сказал Кремнев. — Посмотрите — может, вокруг что-нибудь найдется: сооружения или ещё что-нибудь.

— Хорошо, — ответил я, с трудом сдерживая закипавшую злость и желание поспорить.

Мы с Иваном Михайловичем пересекли такыр и вышли наверх из такырной котловины. Наискосок стояла высокая, метров в восемь, барханная цепь. Это барханы слились друг с другом. За первой цепью — вторая, за ней — третья и четвёртая. Цепи были длинные, концов

не видно. Между цепями узкие котловины. Иван Михайлович обратил моё внимание на то, что склоны цепей неравномерны. Наветренный склон пологий, подветренный — крутой. По пологому склону песчинки, гонимые ветром, вкатываются на острый гребень и падают вниз по крутому подветренному склону. В результате барханная цепь движется. За год она дважды меняет направление — в зависимости от ветра. Летом, когда дуют северный и северо-западный ветры, цепь перекачивается на юг или юго-восток; зимой, когда преобладает юго-восточный ветер, — на север и северо-запад. Медленно наступает цепь. За год она проходит в одном направлении не более двадцати метров. Но зато движение это неотвратимо. Все, что попадает под наступающие барханы, через два-три дня оказывается закопанным многометровой толщей песка.

Я слушал безучастно, стоя на гребне наступающей барханной цепи и глядя, как коварные струйки песка плавно стекают вниз по крутому склону. Но постепенно во мне закипало возмущение.

— Проклятая, жадная, мёртвая пустыня. Здесь все мертво. Всё здесь обречено на смерть, — пробормотал я.

Иван Михайлович внимательно посмотрел на меня, потянул своим утиным носом и сказал:

— Нет, не всё. Здесь идёт борьба жизни и смерти.

— Ну да, какая же борьба? — С горькой иронией ответил я. — Это наши потуги, что ли? Так это все пустое. Может быть, когда техника невероятно разовьётся, удастся и тут что-нибудь сделать. А пока что — ерунда.

— Я не о том, — задумчиво ответил Иван Михайлович. — Сама природа борется. Разве вы не видели в межбарханных котловинах и на нижней части склонов барханных цепей растения?

— Видел, — ответил я. — Это какие-то еле заметные под песком жёсткие щётки да кривые безлистные кустики.

Иван Михайлович помрачнел. Мы двинулись дальше. Очевидно, сделав над собой усилие, Иван Михайлович снова стал рассказывать:

— Подпрыгивает, катится по Каракумам гонимый ветром лёгкий, упругий, щетинистый шарик. Как ни быстро двигается под ветром песок, шарик все время обгоняет его. Но вот стих ветер. Шарик лёг на песок, и тут же заключённые в нем семена выпустили корни. Те, которые попали на гребень барханной цепи, сразу же погибают. Но те, которые оказались внизу на склонах или в межбарханной котловине, начинают расти. Они выпускают длинные, горизонтально растущие корни. Эти корни попадают в подповерхностный слой влажности, имеющийся в барханах. Отсюда растения черпают жизнь. На корнях маленькие волоски, которые связывают песчинки. А потом этот песок цементируется в чехлы, одевающие корни. Песок засыпает растение, но из почек в пазухах листьев вырастают новые корни с острыми концами. Они пробивают слой песка и, дойдя до поверхности, дают новый пучок листьев и наземные стебли. Ветер выдувает песок из-под корней, но растение ложится кроной на песок, задерживает песчинки и, когда наберется их много, пускает в ату кучку новые корни. Цементные чехольчики защищают обнажённые корни от полного высыхания, пока новые корни не окрепнут. А новые корни разрастаются и разрастаются, песок между ними цементируется, бархан возле растения покрывается твёрдой коркой. Эта корка и длинные горизонтальные корни задерживают движение песка. И вот уже фронт наступающей барханной цепи прорван. Вперёд уходит только та её часть, где нет растений. Авангард борцов против барханных степей — селин — принадлежит к гордому племени растений-пионеров. Но живет селин недолго. Сцементированный им поверхностный слой песка задерживает влагу, она уже не достигает корней, и селин вымирает. На смену ему

появляется кандым — кустарник до двух метров высотой с ветвистой кроной и топкими безлистными веточками. Вот он, — сказал Иван Михайлович и наклонился над темно-зелёной щёткой, которая едва возвышалась над песком. — Он не может так хорошо закрепляться в движущихся песках, как селин, но зато он больше и растёт тем быстрее, чем быстрее его засыпает песок. Кандым всегда хотя бы немного обгоняет песок. Куст растёт в песке во все стороны. Его корни, достигающие в длину до тридцати метров, пронизывают барханную цепь во всех направлениях.

И вот целые отрезки цепи остановлены и превращены в неподвижные бугры. Но, как и в истории с селином, уплотнение почвы в буграх нарушает, задерживает приток воздуха и влаги, необходимых кандыму, и он тоже умирает. Опадающие веточки кандыма обогащают верхние слои песка, превращая его уже в почву — мелкозём. Тогда вступают в строй осока и трава — иляк. Они ещё больше увеличивают содержание мелкозёма, делают почву ещё богаче. Но, в конце концов, и они обречены на гибель, их листья испаряют больше влаги, чем накапливается в почве от атмосферных осадков, и постепенно иляк с осокой тоже вымирают. Тогда на их месте появляются высокие кустарники — чогон, борджок, а затем и песчаный саксаул — деревцо высотой до четырёх–пяти метров. Своими мощными корнями он пронизывает бугор уже не только вширь, но и вглубь. Его опадающие ветви ещё больше обогащают почву, она становится плотной, засоленной и сцементированной. И тогда песчаный саксаул, нуждающийся в рыхлой структуре, вымирает, уступая место солончаковому саксаулу, которому не страшна плотная и засоленная почва.

Пока Иван Михайлович говорил, мы добрались до бугристой равнины, сплошь покрытой зарослями невысоких кудрявых деревьев. Я подошёл к: ним и с удивлением увидел, что стволы и ветки деревьев покрыты узорчатым солевым инеем, а в некоторых местах даже плотной коркой соли. Между деревцами росла трава, в которой с необыкновенной быстротой бегали какие-то маленькие серо-жёлтые птички.

— Да, — ответил на мой вопросительный взгляд Иван Михайлович. — Это и есть заросли солончакового саксаула — леса пустыни. Отличные пастбища для скота и топливо. Так побеждается пустыня. Конечно, бывают не только победы. Посмотрите внимательно на барханные цепи. Во многих местах вы найдете засохшие пеньки — останки погибших в бою с песками первых пионеров. А иногда и человек, варварски вырубая все заросли саксаула, открывает путь врагу — движущимся пескам. Но борьба идёт, идёт по всей пустыне и не прекращается ни на минуту, — закончил Иван Михайлович и закурил, медленно пропуская дым сквозь свои длинные усы.

— Иван Михайлович, — спросил я, — а что, в сущности, делает здесь в Каракумах ваш батальон? Я понимаю, что есть военная тайна. Может, хоть что-нибудь вы можете мне рассказать? Вы извините, я долго удерживался, не спрашивал, а теперь уж очень узнать захотелось.

— Да нет, какая же это тайна? — Ответил Иван Михайлович. — Строим дороги для опорных баз, поисковых и строительных организаций, которые будут здесь прокладывать трассы будущих каналов и шоссе. Не век быть войне.

— Ну и тяжёлая же работа! — Глупо сказал я.

— Да, не лёгкая, — отозвался Иван Михайлович. — И сама по себе не слишком рациональная. Засыпает наши дороги песок, разрушают ветер и солнце. Тут бы надо строить шоссе да и каналы проводить на железобетонных эстакадах. Конечно, это дело дорогое и трудоёмкое, но окупится. Тогда все, что идёт сейчас во вред дорогам, будет идти им на пользу. А может быть, от наших дорог через десять — пятнадцать лет ничего и не останется.

— Тогда зачем же их строить?

— А видите ли, — сказал тихо Иван Михайлович и пристально взглянул на меня своими выцветшими голубыми глазами, — чтобы эстакадные шоссе и каналы соорудить, нужны сначала наши дороги — без них не построишь. Так-то вот.

## ДАНДАНКАН

Ночью я впервые за время пребывания в Таш-Рабате долго не мог уснуть, и утром, когда мы с Иваном Михайловичем снова спустились с холма, я спросил его:

— Это верно, что такыры часто располагаются в древних долинах?

Иван Михайлович подтвердил.

— Вчера вы мне сказали, что барханные цепи имеют всегда совершенно определённое направление. Но тогда и межбарханные котловины должны иметь такое же направление. Ведь так?

— Да, конечно, — ответил Иван Михайлович.

— А посмотрите, котловина или балка, которая проходит мимо Таш-Рабата, не совпадает по направлению с барханными цепями и их котловинами.

Мы снова поднялись на холм. Отсюда, с высоты, была видна то появляющаяся, то исчезающая балка, проходившая мимо городища.

— Да, — сказал он, — направление другое. А вы заметили, что вдоль этой балки попадаются древние, окатанные песком, иногда покрытые чёрным блестящим налётом кости. Это кости верблюдов, лошадей, ослов, иногда человеческие.

— Я заметил, как что-то сверкало вдоль дороги, ещё когда мы в первый раз в штаб ехали, но не придал этому значения, — ответил я.

Мы дождались машины и поехали вдоль балки. Хотя дно её было очень твёрдым и ветер выдувал из него песок, местами балка совершенно исчезала, но потом неизменно появлялась снова. Мы проследили её почти до самого Серакса. К сожалению, в другую сторону балка оказалась почти совсем уничтоженной и засыпанной. Но сомнений быть не могло. Эту балку глубиной до двух-трёх метров создали не песок и ветер, а животные и люди. Тысячи верблюдов на протяжении сотен лет утоптали этот песок, цементировали поверхность.

— Это древняя караванная дорога, — сказал я.

— Да, это древняя караванная дорога. Теперь мы узнаем настоящее имя Таш-Рабата, — отозвался Иван Михайлович.

— Мы всё узнаем — имя, отчество, фамилию и все такое.

— У города не бывает отчества и фамилии.

— Нет, бывает.

— Может быть, и бывает, — сказал Иван Михайлович, едва приметно пожав плечами, — вам виднее.

Таш-Рабат лежал на древней караванной дороге, которая вела в одном направлении на

Серахс, а в другом... Ну это ещё предстояло выяснить. Мы снова и снова проверяли балку, всё новые факты подтверждали нашу догадку. По пути, возле городища, к северу и востоку от него наша экспедиция открыла несколько небольших древних холмов, которые, как показали исследования Кремнева, были остатками небольших поселений — видимо, ремесленного посада, так как там мы обнаружили печи для обжига кирпича. Это открытие послужило ещё одним веским доказательством того, что Таш–Рабат — остатки древнего города.

У подножия холма было раскопано несколько очень странных сооружений. Цилиндрические ямы, выложенные кирпичом. Их форма и положение, казалось, не оставляли сомнения в том, что это колодцы. Однако содержимое этих ям, заполнение, как говорят археологи, противоречило такому определению. Ямы доверху были забиты человеческими скелетами. В чем дело? В колодцах ещё никто никогда не хоронил. Да и какой смысл отравлять в безводной пустыне воду, бросая туда трупы? Мы долго строили по этому поводу различные предположения, но так ни до чего и не додумались. Однако позже и эта загадка объяснилась...

Как-то, возвращаясь с Иваном Михайловичем из очередной разведки, я заметил человеческий череп, торчавший на кусте саксаула. Череп был, видимо, очень древним, потому что кость оказалась сильно окатанной и покрытой чёрным блестящим налетом.

— Какое варварство! — зло сказал я. — Пусть этот никому не известный человек давно умер. Но ничем же так глупо надругаться над его останками, да ещё и саксаул портить?

— Вы всё торопитесь с выводами, всё поверху судите, — сказал Иван Михайлович, слегка подёргивая щекой, что служило у него признаком недовольства или расстройства. — Череп очень хорошо окатан и блестит как зеркало. Человеческий череп — самый круглый из черепов и равномерно отражает свет. Одетый на куст саксаула, он со всех сторон виден издали. Тот, кто сделал это, заботился о других людях и о нас с вами. Если хочешь добраться до колодца, нужно идти в ту сторону, куда повернут глазницами череп.

Я молчал, пристыженный и потрясённый. Везде череп — символ смерти. В безводной пустыне череп — символ жизни, потому что он показывает дорогу к воде...

После новых детальных обследований балки, предпринятых всей экспедицией, в один из вечеров мы собрались в землянке.

— Вне всякого сомнения, Таш–Рабат находится на древней караванной дороге, — сказал Кремнев. ~ Одним концом эта дорога упиралась в древний город Серахс. А другим?

— Другая вела до древнего Мерва, — твердо сказал Леонов. — Эта караванная дорога была хорошо известна в IX, X, XI и XII веках. Она не раз упоминается арабскими и персидскими учёными и путешественниками. Мы узнаем, без сомнения, узнаем теперь древнее имя Таш–Рабата.

В этот вечер я впервые услышал звонкое, как звук колокольчика на шее ведущего караванную цепь верблюда, слово «Данданкан». Его произнес Кремнев.

Леонов тут же сказал:

— Караванную дорогу между Мервом и Серахсом упоминают Ибн Джафар, Ал–Якуби, Гардизи и другие. Всего, по их подсчетам, на верблюдах шесть дней пути от Серахса до Мерва. От Серахса до замка ан–Наджар три фарсаха, от ан–Наджара до Уштурмагака пять фарсахов, от Уштурмагака до Тильситана шесть фарсахов, от Тильситана до Данданкана шесть фарсахов, от Данданкана до Януджира пять фарсахов, от Януджира до Мерва пять фарсахов. Всего тридцать фарсахов. Старинная восточная мера длины — фарсах примерно равен шести километрам. Расстояние от Данданкана до Серахса двадцать фарсахов, или сто

двадцать километров. А какое действительное расстояние от Серахса до Таш–Рабата?

Кремнев быстро подсчитал на карте и сказал:

— Так и есть — сто двадцать один.

— Великолепно! — закричал Леонов. — А теперь подсчитаем. От Данданкана до Мерва десять фарсахов, или шестьдесят километров.

Он кинулся к карте и стал измерять масштабной линейкой расстояние от Таш–Рабата до Мерва.

И вдруг лицо Алексея Владимировича вытянулось:

— Выходит, что от Таш–Рабата до Мерва тридцать три километра по прямой. Расстояния не совпадают.

Припомнив спор Кремнева с Леоновым, я не без ехидства сказал:

— А вы, Алексей Владимирович, подсчитайте расстояние от Байрам–Али до Таш–Рабата!

Леонов подсчитал и сказал с достоинством:

— Расстояние от Байрам–Али до Таш–Рабата шестьдесят пять километров. Это почти точно совпадает с расстоянием от Мерва до Данданкана, указанным древними авторами.

Значит, во–первых, Таш–Рабат — это, несомненно, Данданкан, а во–вторых, древний Мерв находился на месте Байрам–Али. Вы оказались правы, Николай Иванович, — закончил Леонов и обменялся с Кремневым рукопожатием.

На следующее утро Леонов уехал в город. Вернувшись, он показал нам сводку всех сведений арабских и персидских историков и путешественников о Данданкане. У всех нас было праздничное настроение, и мы, как поэму, перечитывали эту сводку.

## СНОВА ТОГРУЛ

Данданкан — город на пути между Серахсом и Мервом. Впервые он упоминается дважды в середине VIII века в связи с восстанием местных племён против арабских султанов из династии Омейядов.

Омейядский наместник в Хоросане дал страшную клятву об уничтожении восставших, заявив, что если он не подавит восстание, то пусть будут разведены с ним все его жены и освобождены все его рабы.

Однако, несмотря на такую клятву, подавить восстание оказалось делом весьма сложным. Мятежники базировались в Данданкане. Здесь они открыто приняли цвета восстания. Сюда, во главе семидесяти гвардейских отрядов — накибов, прибыл глава восстания Абу–Муслим. Если в Данданкане могло разместиться столь солидное войско, значит, уже в середине VIII века Данданкан был значительным городом.

Историк IX века Ал–Якуби говорит о Данданкане и других городах между Серахсом и Мервом, что они расположены в дикой пустыне и в каждом из этих городов имеются укрепления, которые помогают жителям защищаться от нападений кочевников.

Значит, в IX веке вокруг города простиралась такая же дикая пустыня, как и в настоящее время. Положение, видимо, изменилось в X веке.

Историк X века Макдиси писал о самом Мерве и городах, входивших в Мервский округ, в том числе и о Данданкане, как о богатых и цветущих, как и весь Хоросан. Он говорит о том, что в округе Мерва есть семь соборных мечетей: две в самом Мерве и пять в разных городах, из них одна в Данданкане. А соборная мечеть находилась обычно в административных центрах целых районов. Таким центром и был, видимо, в X веке Данданкан.

Султан Махмуд из династии Газневидов (названа так по их столице городу Газне) разрешил туркменам поселиться в Хоросане и отвел им пастбища Данданкана. Туркмены там укрепились и жили до тех пор, пока не были изгнаны войсками Махмуда. Значит, в те времена — в первой половине XI века — вокруг Данданкана находилась не дикая пустыня, а богатые пастбища, которые давали пищу стадам и табунам. А около середины XI века под стенами Данданкана произошло событие огромной важности, определившее историю всей Средней Азии на целое столетие.

Сын и преемник Махмуда султан Масуд был пьяницей, развратником, бездельником и невероятно жестоким, жадным и коварным человеком.

Он разрешил туркменам поселиться в Хоросане, рассчитывая на то, что они будут ему служить и защищать его от нападений соседей, а заодно поставлять баранье мясо, так как овечьи стада были основным богатством туркмен.

Но однажды Масуд заманил к себе в гости туркменских вождей и коварно убил их, рассчитывая этим устроить своих новых вассалов и обеспечить их полную покорность. Однако это произвело обратное действие. Туркмены восстали. Во главе восставших стали сыновья убитых, а также Тогрул, сын Сельджука, и его братья — опытные и смелые военачальники. Восстание туркмен было вызвано не только коварным убийством их вождей, но и чудовищными притеснениями и поборами, которым их подвергали чиновники султана.

Масуд и его приближенные расправлялись с восставшими с неслыханной жестокостью: пленным отрубали руки, а культю их опускали в кипящее сало. Один из приближенных султана — Нуш-тегин, расправляясь с группой туркмен, двести человек убил, головы их приказал надеть на кол, а двадцать четыре пленным отослал султану. Вот как описывает один из чиновников посольского приказа Бейхаки, что произошло потом:

«Султан пил вино, когда пришло это известие. Он приказал выдать халаты и награды вестникам, отправить их обратно, бить в барабаны и трубить в трубы. Во время послепоуденного намаза султан снова пил вино. Он приказал бросить перед своей большой палаткой пленников под ноги слонам.

Тут даже выдавший виды придворный дипломат Бейхаки восклицает: «Ужасный день был. Слух об этом достиг и близких и далёких».

Не лучше вел себя и наместник султана в Хоросане — Сури. Придя на поклон к султану, он преподнес своему господину на четыре миллиона диргемов[3] «подарков». Здесь были рабыни, золото в зелёных и красных шёлковых кошельках, серебро, ожерелья из драгоценных камней, жемчуг, пятьсот тюков драгоценных ковров, камфара, все ценные вещи, которые собрал Сури у жителей всех городов Хоросана. Причём это была только половина ценностей, награбленных Сури, вторую половину он присвоил себе. Сури грабил и убивал и богатых и бедных и восстановил против себя и султана все городское население Хоросана.

Однако туркмен не так-то просто было запугать. В результате всех изуверских деяний султана пламя восстания только разгорелось.

Жители городов тоже обратились за помощью к туркменам, и восстание против эмира перекинулось от кочевников к горожанам, приняло всеобщий характер. Видя, что Хоросан уходит из-под его власти, Масуд, собрав огромное войско, состоявшее из индусов, курдов, арабов, тюрок, двинулся в Хоросан на тысячах лошадей, верблюдов, боевых слонов. Когда Масуд подошёл к Серахсу, жители города отказались ему покориться. Тогда, взяв город осадой, Масуд приказал разрушить крепость, жители города были либо истреблены, либо изувечены: у них поотрубали руки.

Туркменское войско во главе с братом Тогрула — Чагры-беком медленно отступало в глубь Хоросана по той самой караванной дороге, на которой лежит Таш-Рабат. Сам Масуд и его приближенные, презрительно называвшие туркменскую конницу дикой ордой, уже торжествовали, предвкушая лёгкую победу. Однако туркмены отступали в полном порядке по серахско-мервской дороге.

Армия султана стала тяжело страдать от жажды и вынуждена была отойти с главной дороги к побережью Мургаба. И все равно много султанских солдат умерло от голода, а лошадей — от бескормицы.

Наконец, 22 мая 1040 года войска султана Масуда подошли к Данданкану.

Люди и животные изнемогали от жажды. Но жители Данданкана не открыли ворот города войскам султана. Они лишь спускали со стен крепости на верёвке кувшины с водой. Когда же султан потребовал, чтобы жители дали воды напоить животных, со стен крепости ответили: «В крепости всего пять колодцев — дадут воду только солдатам. Вне крепости есть еще четыре колодца, но туркмены побросали туда трупы. Нигде больше воды не найти».

Ах, вот в чем дело! Значит, то, что мы нашли у стен города, — это все-таки колодцы!

Так войско султана и провело остаток дня и ночь без воды. А наутро — в пятницу 23 мая — султан увидел, что вся равнина и холмы вокруг заняты туркменами. Войска туркмен были построены, как говорит один из современников, сопровождавших Масуда, «в царском порядке», то есть по всем правилам стратегии и тактики. Путь султану был преграждён. Султан двинул против туркмен боевых слонов и спую закалённую в боях гвардию — гулямов [4]. Но разноплемённое наёмное войско султана сражалось за деньги и ради наживы, а туркмены защищали свою страну. Маленькие сплочённые конные отряды — курдус, на которые было разделено туркменское войско, с боевыми криками «Яр! Яр!» кинулось на врагов. Тут же на сторону туркмен перешло 370 их соплеменников из гвардии султана — гулямов со значками львов.

После первого же ожесточённого натиска армию султана охватила паника, и она «показала спину». Мужество Масуда, лично принявшего участие в битве и сражавшегося так, «как не делал собственной персоной ни один падишах», не могло предотвратить полного разгрома его войска. Масуду пришлось пересест с боевого слона на лошадь и спастись бегством. Убегая, султан загнал по пути шестнадцать лошадей и в конце концов пересел на быстроходного верблюда-дромадера. Масуд добрался до своей столицы Газны, бежал в Индию и через год умер. После битвы при Данданкане власть над Хоросаном перешла в руки туркменского вождя Тогрула, сына Сельджука. Он стал основателем знаменитой династии Сельджуков. (Вот в честь кого был назван Тогрул, погибший во время афганца!)

Прошло сто лет, на протяжении которых восточные авторы ни разу не упоминают Данданкан. В 40-х годах XII века житель Мерва историк Ас-Самани пишет о Данданкане как о небольшом городке, находящемся в десяти фарсах от Мерва. Видимо, и экономическое и политическое значение города в это время уже начинает падать.

Поздней осенью 1158 года кочевники-гузы после разгрома войск последнего сельджукского султана Санджара напали на Данданкан, взяли его штурмом, перебили часть жителей.



Оставшиеся в живых разбежались. Данданкан прекратил свое существование. Вот почему самые поздние монеты, которые мы нашли, были чеканены в 1157 году.

Когда в начале XIII века знаменитый арабский учёный—географ Якут (грек, долгое время бывший рабом в Сирии) проезжал по Хоросану, он видел уже руины Данданкана и так их описал: «Данданкан — город в районе Мерва Шахиджана, в 10 фарсах от него, в песках. В настоящее время он разрушен и от него ничего не осталось, кроме рабата (постоялый двор для караванов. — Г. Ф.) и минарета. Он находится между Серахсом и Мервом. Я видел его, и не было там ничего, кроме стоящей стены и следов красивых зданий, указывающих на то, что это был город. Занёс его песок, разрушил его и принудил жителей выселиться».

А через сто лет другой знаменитый учёный Казвини, описывая Хоросан и его поселения, не упоминает и руин Данданкана.

С начала XIII века и до нашей экспедиции даже место, на котором стоял Данданкан, оставалось неизвестным.

В период своего расцвета, в X и XI веках, Данданкан был небольшим, но богатым и известным городом. Макдиси пишет, что в X веке это был укрепленный город с одними воротами. Снаружи был расположен рабат, внутри красивая соборная мечеть и одна мечеть не соборная. В нем были бани, обширные дома со стенными украшениями из гипса. С Данданканом сравниваются различные города, настолько он был хорошо известен в X веке. Длина города пятьсот шагов; по свидетельству современников, он был окружен стеной. Все жители его принадлежали к шафиитам. Шафииты противопоставляли себя другому течению ислама — ханефизму, который насаждали газневидские султаны.

Вот и все, что известно из письменных источников о Данданкане. Это и много и мало. Много потому, что мы узнаём о важнейших политических и военных событиях, связанных с городом, о времени его гибели; ряд интересных подробностей о его размерах, зданиях, внешнем облике. Мало, потому что почти ничего не говорят историки о жизни его населения, целые эпохи истории города совершенно не упоминаются.

Раскопки, проведённые нами, позволили кое—что подтвердить, а кое—что и гораздо точнее обрисовать. Так, например, правильными оказались сообщения о существовании крепостной стены, о размерах города. Мы нашли эту стену, определили, из чего и как она была построена. Примерно совпали и действительная длина города (216 метров) с той, которая указывалась историками X века, — 500 шагов. Подтвердилось годами чеканки самых поздних монет из Таш—Рабата и время гибели города. Мы нашли и дома, которые описываются историками. В небольших раскопках к юго—востоку от центра городища мы открыли два жилища. Стены и полы этих небольших домов были выложены отлично обожжённым кирпичом. Изнутри стены богато орнаментированы резным кирпичом и фигурной кладкой. Между двумя параллельными линиями в несколько рядов выложены на стенах ромбы. Судя по найденным в домах вещам и орудиям труда, жилища принадлежали небогатым ремесленникам или торговцам. Интересно, что, по рассказу Бейхаки, жители Данданкана не пустили войска султана Масуда в город и дали ему лишь небольшое количество воды, которую они спускали в кувшинах со стен, потому что якобы в городе было всего пять колодцев. Оказалось, что это далеко не так. В XI веке в городе не только было множество колодцев, но и существовала хорошо развитая система канализации и водопровода с прочными гончарными трубами.

Жители города вполне могли, но не хотели снабжать водой войско султана, потому что все их симпатии были, видимо, на стороне туркмен, к которым городское население всего Хоросана обращалось за помощью в борьбе против сатрапов султана. Поэтому они не только фактически отказались давать султану воду, но и завалили трупами колодцы, которые находились вне крепостных стен.

Собранные нами коллекции бытовых предметов, орудий труда, оружия, украшений позволили составить яркое представление об уровне развития различных ремёсел в городе, в частности о высоком художественном ремесле ювелиров, резчиков по камню и кости, гончаров. Многие живые черты городского быта и производства открылись благодаря раскопкам.

## ХУДОЖНИК АБУ–БЕКР

В «Раскопе колонны» оказался михраб — это такая ниша с полукруглым сводом, к которой обращаются мусульмане при молитве. Сомнений быть не могло. Перед нами мечеть, и, судя по её местоположению и богатству орнаментации, именно та самая соборная мечеть, о которой говорили древние авторы. Михраб, сделанный из кирпича, был обмазан толстым слоем алебаstra — гача — и сплошь покрыт художественной резьбой. Вписанные друг в друга цветы и геометрические фигуры сочетались с ажурной вязью куфического шрифта. Расчистка михраба стала в центре внимания всей экспедиции. Особенно увлекался ею Иван Михайлович, получивший от нас за это негласное прозвище «Иван Михрабович». А потом показались и новые резные колонны, и арки купольных перекрытий, и пол, выложенный фигурной кладкой из жжёного кирпича. Все стены здания были покрыты резьбой и окрашены в красный, синий, жёлтый, зелёный и белые цвета. Оказалось, что один под другим находятся два слоя гача с резьбой. Первый — более грубый, был сделан одновременно со строительством мечети. Второй — позже, во время одного из серьёзных ремонтов. Этот второй слой резьбы обладал совершенно изумительными художественными достоинствами. Резные цветочные, геометрические и арабесковые узоры гармонически сочетаются друг с другом, хотя и имеют разные размеры и разную глубину. Это создает при ярком солнечном свете Каракумов не только живую и тонкую игру светотеней, но и необычайный динамический эффект. Когда стоишь вдалеке от стены или колонны, виден только самый большой и глубокий рисунок; когда подходишь ближе, становится видным средний рисунок, ещё ближе — медленно выплывает самый мелкий рисунок и снова, как живой, меняется абрис резьбы, в котором видны теперь уже все три рисунка сразу. Кто же был автором этого изумительного и по замыслу и по исполнению художественного орнамента, когда он был сделан? Представьте себе, это удалось узнать!

Большинство надписей на стенках и своде михраба оказались различными изречениями из священной книги мусульман — корана. Однако одна из этих надписей, находившаяся в верхней части михраба, содержала отнюдь не отрывок из корана. Эта надпись была прочтена уже в Москве по фотографии. Прочел ее известный советский ориенталист М. М. Дьяконов.

Надпись гласила: «Сделано Абу–Бекром...» Далее идет дата по хиджре — времени перехода Магомета из Мекки в Медину, с которого мусульмане начинают свое летосчисление. К сожалению, последние две цифры плохо сохранились. Поэтому возможно три прочтения даты: первое, самое вероятное — 490 год хиджры, или 1096—1097 годы по нашему летосчислению, второе — 470, или соответственно 1077—1078 годы, и третье — 440, или соответственно 1048—1049 годы.

Разница между тремя датами не особенно велика, и ясно, что после знаменательного поражения войск Масуда при Данданкане город продолжал существовать и находился в состоянии расцвета, раз был произведён ремонт мечети и создан новый, удивительный по мастерству и художественной ценности, резной орнамент её михраба и стен.

В сочинениях придворных историков, описывающих различные венценосные ничтожества, вроде султана Масуда, не нашлось места для упоминания об Абу–Бекре, но каменная летопись Данданкана сохранила нам имя этого замечательного художника.

Упадок города, наступивший в XII веке, видимо, следует связывать с тем, что в условиях борьбы туркмен против сельджукских султанов, которая разгорелась в первой половине XII века, Данданкан, находившийся в самом центре военных действий, стал небезопасен для торговых караванов и они вынуждены были обходить его стороной.

Между полом мечети и рухнувшими на него арками, стенами, михрабом находился довольно значительный слой песка, не содержащий никаких находок. Значит, своды мечети рухнули уже через довольно длительное время после событий 1158 года, когда был взят штурмом и опустел город.

Мы не знаем точно, когда рухнула мечеть, но, во всяком случае, Якут, побывавший в этих местах спустя примерно шестьдесят лет после штурма города, уже, как мы видели, не застал там мечети, а лишь остатки минарета.

Раскопки мечети шли полным ходом. Мы уже отрыли значительную часть её. А предстояло ещё найти и раскопать многое: проем в городской стене, где находились ворота (широкая седловина в северо-восточной части вала как будто бы указывала, где их надо искать), рабат, вторую мечеть, здания с украшениями из гипса, о которых упоминали древние авторы...

Словом, мы ещё только заглянули в историю Данданкана.

Однажды утром я с удивлением увидел среди солдат, копавших на «Раскопе колонны», Ахмета. Он был в военной форме и усердно работал лопатой. Я подошёл и поздоровался.

— Здравствуй, — ответил Ахмет и отвернулся.

Во время перерыва я подошёл к Ахмету и спросил:

— Скажи, я в чем-нибудь виноват перед тобой?

Лицо Ахмета потемнело, и он с усилием сказал:

— Ни в чем ты не виноват. Только ты ко мне не подходи. Сам должен понять.

Что же, может быть, он прав. Во всяком случае, хорошо, что его мечта об армии осуществилась.

Параллельно раскопкам мы вели разведки вдоль всей трассы древней караванной дороги между Серахсом и Мервом. Судя по местоположению больших, занесённых песком бугров, открытых на этой дороге, их можно было связать с ещё одним городом, который упоминали древние авторы, — с Тильситаном. Но там мы просто не успели произвести никаких раскопов. Эти песчаные бугры сейчас туркмены называют «Хауз-и-хаи» — «Водоём хана», хотя вокруг нет никакой воды. Тильситан ждёт исследователей! Повсюду вдоль дороги между Мервом и Серахсом мы находили следы древних оросительных каналов, ширина которых достигала восьми метров. В районе земель древнего орошения мы открыли более двадцати холмов — остатков древних поселений IX—XII веков, судя по поливной керамике, которую собрали мы на поверхности этих холмов. И они ждут своих исследователей.

Каракумы — чёрные, заросшие пески — были действительно когда-то покрыты растительностью, в них кипела жизнь. Сейчас близится время, когда эта бесплодная пустыня при помощи новых оросительных каналов превратится в цветущий сад. Ирригационная система, построенная тысячами неизвестных тружеников и разрушенная Чингис-ханом и другими завоевателями, будет не только восстановлена, приобретет новые, немыслимые для древней техники возможности и продуктивность. В свете знания истории Каракумов особенно справедливым и нужным представляется строительство большого Каракумского канала.

Изучение этой истории имеет и важное практическое хозяйственное значение.

Строители современных ирригационных сооружений, несмотря ни на какой уровень развития техники, широко используют сложившиеся столетиями цепные навыки древних ирригаторов, изучаемых археологами по остаткам оросительной системы прошлого.

Работы на Данданканском городище шли полным ходом, когда мы как-то утром увидели переваливавшие через барханную цепь две автомашины. Приехал генерал, командующий дивизией.

Генерал, видимо решивший произвести на нас сильное впечатление, сиял множеством орденов и вначале с сомнением крякал в ответ на довольно бессвязные пояснения Кремнева.

Но, когда за дело взялся Леонов, генерал насторожился. Потом он стал осматривать найденные вещи и сказал, разведя руками:

— Если бы не капитан (он имел в виду Ивана Михайловича), ни за что в такое время не дал бы я солдат для раскопок. А теперь вижу — доброе дело. Не зря дал.

Кончилось тем, что генерал вместе со всем своим штабом оказался в «Раскопе колонны», где офицеры, вооружившись сапёрными лопатками, ножами и скальпелями, принялись расчищать стены мечети.

Генерал вскоре устал и вылез из раскопа, но остальные офицеры, предводительствуемые Иваном Михайловичем, так и остались там работать.

Мы все не могли удержаться, чтобы не наговорить генералу самых восторженных слов об Иване Михайловиче. В ответ генерал сказал:

— Ещё бы! Это лучший боевой комбат моей дивизии. Умница и герой. Его батальон так дал фрицам на фронте, что они надолго запомнят. Здесь батальон отдохнул, новое пополнение обучено. Дороги построили, да и вам помогли, товарищи археологи. А теперь прощайтесь с капитаном. Завтра дивизия будет грузиться в эшелоны. Снова на фронт.

Незачем говорить о том, каким было это прощание. Не знаю, где Иван Михайлович, жив ли он. Но никто из нас, участников экспедиции в Данданкан, никогда его не забудет.

Вместе с уходом батальона и нам пришлось свернуть работы. В безводной пустыне без помощи Ивана Михайловича не было никакой возможности продолжать экспедицию.

Данданкан и другие древние города Хоросана ещё скрывают много увлекательных тайн, которые ждут разгадки.

РУТА

ЗАГАДКА ШАПШАЛА

В просторной, неярко освещённой комнате было очень уютно, пахло кофе и пряностями. Наверху покачивалась бронзовая дамасская люстра. Она имела форму корабля с синими

стеклянными иллюминаторами и ажурными прорезными бортами. Проходя сквозь них, свет падал на потолок причудливыми, лениво набегающими волнами. Казалось, корабль плывет по волнам. Светло было только под люстрой. Остальная часть комнаты скрывалась в полумраке. Из тёмного угла скалился застывшей картонной улыбкой японский самурай в парадной одежде и с полным вооружением. За чёрным дубовым столом всю стену занимал темно-красный хоросанский ковёр. Тускло блестели на нем кривые клинки турецких сабель, перламутровая инкрустация мушкетных лож.

Сергей Маркович Шапшал, неслышно ступая, внёс круглый медный поднос с тремя миниатюрными дымящимися чашечками. Запах кофе резко усилился. От медного шарика, зажато в руке, шли к подносу четыре цепочки. Сергей Маркович раскачал поднос на цепочках и описал им полный круг в воздухе. Потом, выпрямившись во весь свой великолепный рост, с детской радостью продемонстрировал нам, что ни одна капля кофе не пролилась. Чёрные глаза его блеснули из-под густых бровей, да и вся статная фигура, облачённая в строгий тёмный костюм, выражала искреннее торжество. Десятки раз, подавая собственноручно изготовленный кофе, он совершал этот нехитрый фокус и каждый раз радовался.

— Bravo! — Сказал я, невольно улыбаясь.

Со стороны дивана, на котором валялся старина Варнас, послышалось какое-то мычание, тоже, видимо, обозначающее безоговорочное одобрение. Я взял с подноса чашечку горячего крепчайшего кофе и отпил маленький глоток. Сейчас же часто и сильно застучало сердце, но кофе действительно был необыкновенно вкусным и душистым.

После кофе мы закурили. В этом нам составил компанию картонный молодой ливанец, сидевший в углу со скрещёнными ногами, в оранжевом халате, с трубкой в зубах.

— Ни разу не доводилось мне слышать в подлиннике Омара Хайяма, — сказал я. — Наверно, музыка рубайев на персидском совсем по-другому звучит, чем в переводах.

— Охотно почитаю вам, мой друг, если это вас не утомит, — отозвался Шапшал. Он сел в кресло у письменного стола и стал декламировать, сжав тонкими сильными пальцами свою седую, такую характерную голову, с плоским от деревянной караимской люльки затылком.

Певучие и в то же время гортанные, мятежные звуки тщетно пытались прорвать железный пояс ритма.

Потом Сергей Маркович снова ушёл на кухню варить кофе. Разговаривать со стариной Варнасом было бесполезно. В сущности, молчание, правда в бесконечном разнообразии его форм, было для Варнаса единственной или почти единственной и естественной формой общения. Сейчас это молчание было спокойным, растроганным, из чего я заключил, что Хайям понравился старине.

Хотя не было надежд, что Владас Варнас за всю ночь что-нибудь скажет, я все равно был ему от души благодарен. Благодарен за то, что он пришёл сюда, чтобы побыть со мной, за явное проявление дружбы и доверия.

Собственно, Варнас ни слова об этом мне не сказал, но я знал, что это именно так. Этот высокий полный красивый человек с сильными и правильными, как у героев Джека Лондона, чертами лица был всегда безупречно корректен. Особенно в присутствии малознакомых или даже хорошо знакомых, но не близких людей. То, что он при мне лежал на диване, да ещё без пиджака, да ещё сняв ботинки, безусловно значило, что он видит во мне друга, близкого человека и не скрывает этого. Только я сам знал, как сильно нуждаюсь в его поддержке. Впрочем, все равно ничего не вышло бы без Сергея Марковича. С ним мы встретились у выхода из здания Литовской академии, где я получил документы. Встреча выглядела

случайной, но ручаюсь, что это было не так. Настроение у меня было отвратительное. Я знал, что не в состоянии буду хотя бы на минуту заснуть в эту ночь, а провести её одному без сна в безликом номере гостиницы казалось мне невыносимым. Я и в обычные—то времена не люблю гостиниц и всегда предпочитаю им палатки. По многу лет спишь в одной и той же палатке, и она никогда не надоедает, она всегда разная. Наверное, потому, что, где бы ни поставил палатку, она сразу же вписывается в окружающий пейзаж, становится его частью, а пейзаж—то ведь всегда разный. Номера в гостиницах — наоборот. В каких бы городах они ни находились, они как стеной отделены от этих городов, в них свои, общие для всех гостиниц законы, гостиничные объявления, гостиничная мебель и все такое. Разница только в степени сохранности, цене, более или менее удавшемся бездушном комфорте.

Номер в гостинице «Бристоль», в котором я остановился, был не более противен, чем обычный гостиничный номер. Но провести в нем именно эту ночь казалось мне просто невозможным.

Шапшал спросил, не располагаю ли я сегодня свободным вечером. Я ответил, что совершенно свободен. Тогда Сергей Маркович разразился такой речью:

— Вы знаете, мой друг, старики гораздо больше думают о будущем, чем молодые, — им легче его рассчитать. Зато старики гораздо больше живут в прошлом — там осталось их сердце. Сегодня исполняется сорок лет с того дня, как я был утверждён в звании профессора Петербургского университета. Мне бы хотелось провести этот вечер с близкими людьми. Зайдите сегодня ко мне. Старина Варнас тоже будет. Он просил передать вам об этом.

Тут же согласившись, я пристально посмотрел в глаза Шапшала, но ничего не прочел в них, кроме обычного радушия и доброго внимания. Да и куда мне было с ним тягаться! Конечно, за время его долгой и бурной жизни каждый день в году стал для него какой-нибудь датой. Наверняка и сегодня была именно эта дата — сорок лет с тех пор, как он стал профессором. Шапшал всегда говорил правду. Но только черта с два стал бы он отмечать эту дату, да и вообще любую дату! Это уже был приём, и приём понятный. Но приглашение было сделано так сердечно и так совпадало с моим собственным желанием, что смешно было бы отказаться.

И вот мы втроём коротаем ночь, пьем кофе, курим, разговариваем. То есть разговаривает—то главным образом Шапшал. Варнас, как обычно, молчит, да и мне сегодня не до разговоров. Зато Сергей Маркович неутомим. Он внимателен так, как только он один умеет. Это постоянное, ненавязчивое, чуткое внимание, которое все угадывает без слов. Как хорошо в этой уютной комнате — кабинете хранителя музея! Странствуя по всему миру, Сергей Маркович — один из лучших наших ориенталистов — собрал в странах Востока разнообразные ценные экспонаты. Они составили интересный музей восточных культур. Началась война. Вильнюс был захвачен немцами внезапно. Шапшал спрятал музейные ценности и жил притаясь, помогая людям чем мог. Но едва первые советские солдаты ворвались в Вильнюс, освобождая столицу Литвы от фашистских оккупантов, как профессор Шапшал вывесил над своим домиком знамя нашей Родины, которое тайно хранил во все время оккупации, а музей безвозмездно подарил государству. Его поблагодарили, назначили хранителем, но предоставление нужного музею помещения задерживалось. Пока что экспонаты частично помещались в трёх комнатах его домика и на складе, большая часть их была ещё упакована. Но и в этих трёх комнатах Сергей Маркович умудрился создать выразительную экспозицию, привлекающую многих посетителей. Так во время одной из командировок попал в музей и я, впервые познакомившись здесь с Шапшалом.

Сергей Маркович снова принёс дымящийся кофе. После того как мы его выпили и съели несколько пирожков с вишнями, Сергей Маркович улыбнулся в усы и сказал:

— Хотите, друзья, я расскажу вам совершенно анекдотическую, но тем не менее достоверную

историю, которая произошла со мной в молодости в Тебризе?

— Конечно, хотим, — ответил я и за себя и за старину.

— Извольте, — отозвался Шапшал.

Я не могу передать буквально его речь, речь старого петербуржца, изящную и плавную, с несколько витиеватыми оборотами, и перескажу эту историю своими словами.

По окончании Петербургского университета Шапшал был оставлен при кафедре восточной филологии для подготовки к профессорскому званию. Вскоре он получил длительную заграничную командировку для усовершенствования в знании восточных языков. Побывав сначала во многих странах Ближнего Востока, Шапшал надолго осел в Иране. Шахиншах решил дать своему сыну европейское образование и подыскивал ему главного воспитателя. С англичанами, которые наперебой предлагали свои услуги, у шаха были какие-то нелады, и его выбор остановился на Шапшале. Шапшал блестяще выдержал строгий экзамен, которому подвергла его специальная придворная комиссия. Кроме того, шаха прельстило, что Шапшал был караимом, а в караимской религии есть много от мусульманской. Русское министерство иностранных дел с радостью дало Шапшалу разрешение занять пост воспитателя наследника. В Иране шла борьба за влияние между Англией и Россией, и то, что воспитателем наследника шаха станет русский подданный, было на руку министерству.

Шапшал добросовестно выполнял свои обязанности, одновременно старательно изучая все языки и диалекты народов Ирана. Прошли годы. Старый шах умер. Наследник, взойдя на престол, тут же назначил своего бывшего воспитателя советником. Шапшал тяготился столь длительным пребыванием в Иране и своими новыми обязанностями, но должен был оставаться на посту по настоянию нашей дипломатической службы. И вот однажды произошло следующее: один особо приближенный советник шаха оказался замешанным в тайных сношениях с мятежными курдскими племенами. Шах, очень доверявший этому советнику и осыпавший его милостями, пришёл в неопишуемую ярость. По его приказу несчастного советника подвергли пыткам в одной из загородных тюрем и должны были казнить. Шах вместе с целой свитой, в которой был и Шапшал, явился к месту казни и, подойдя к осуждённому, в ярости плюнул ему в лицо. Вслед за тем он потребовал, чтобы все члены свиты поступили так же. Когда очередь дошла до Шапшала, он отказался и сказал:

«Ваше величество! Гуманные законы моей родины не позволяют мне плевать в лицо человека, тем более осуждённого на смерть».

«Ах, вот как! — холодно ответил шах. — Значит, тебе его жалко, значит, ты его любишь! Ну, хорошо. Тогда ты поделишь его участь!»

— По Перкунайс![5] — Неожиданно раздалось со стороны дивана.

Сергей Маркович улыбнулся и продолжал рассказ. Шахиншах был неограниченным властителем, с жестоким и необузданным характером. Жизнь Шапшала могла прерваться через несколько минут. Лихорадочно размышляя, что делать, стремясь оттянуть время, Шапшал сказал, что он готов выполнить приказ шаха, но при одном условии: он подданный Российской империи, в которой не принято так поступать. Пусть даст ему разрешение русский консул, тогда он плюнет. Казнь отложили, послали в Тебриз за русским консулом. Приехав и выслушав шаха, консул растерялся и сказал, что он не может решить этого вопроса. Пусть решает посол. Шах вернулся в столицу и вызвал во дворец русского посла. Посол, ознакомившись с делом, развел руками и заявил, что такого прецедента ещё не было в дипломатической практике и что он должен запросить министра иностранных дел. Послали фельдъегеря с запросом в Петербург. Министр прочел запрос и, решив, что дело это тёмное, передал его на высочайшее рассмотрение. Николай начертал резолюцию: «Не плевать!»

Курьер повез в Тебриз письмо министра иностранных дел с разъяснением: «Высочайше повелеть соизволено — не плевать».

Пока тянулось все это дело, нетерпеливый шах приказал отрубить голову осуждённому. Шапшал впал в немилость, зато благополучно выкарабкался из этой истории и с облегчением навсегда уехал из Ирана.

Сергей Маркович усмехнулся:

— Да, вот какие глупые истории бывают в жизни.

— Старина! — Обратился я к Варнасу. — А в твоей жизни были какие-нибудь глупые истории?

В ответ на моё обращение Вармас впервые за ночь соизволил открыть рот.

— Самый глупый историй, — негромко и медленно сказал он, — начнёт для нас с тобой сегодня утром, — и откинулся на диван, утомлённый небывалым взрывом красноречия.

Черт побери, может быть, он и прав, но отступать уже поздно. Я не хотел до поры к этому возвращаться. Все думано-передумано. Ничего нового в голову не придёт. Значит, нечего снова без толку про одно и то же думать...

Начинало светать. Окна в комнате совсем побелели. Из мрака все более отчётливо выступали картонные фигуры людей из разных стран Востока, облачённые в подлинные одежды, увешанные настоящим оружием. Волей-неволей приходилось возвращаться из этого призрачного, странного мира к действительности. Впервые за ночь я взглянул на часы. Времени оставалось очень мало. Шапшал перехватил мой взгляд и сказал:

— Да. Скоро мы расстанемся. Не сердитесь на болтливость старика. На прощанье мне хотелось бы рассказать вам одну легенду-загадку. Позволите?

Конечно, я с радостью согласился. Сергей Маркович немного кокетничал. Кем-кем, а уж болтуном его никак нельзя было назвать. Он никогда не говорил просто так.

Шапшал ласково коснулся моего плеча своей большой сильной рукой и начал:

— В славном городе Читракута жил когда-то богатый и могущественный раджа. У него была единственная дочь. Даже бог любви Мадана отдавал должное красоте и уму девушки. На руку её претендовали три молодых брахмана. Все трое очень любили её, были хороши собой и полны истинной учёности, которая в противоположность мудрости мещан не полагает границы познания. Девушка, теряясь в выборе, не знала, кому отдать предпочтение. И вдруг случилось страшное несчастье. Девушка заболела и умерла. Она была зороастрийкой — солнцепоклонницей, по вере которых тело нельзя предавать земле. Безутешный отец вместе с тремя женихами построил из жёлтого камня специально для девушки круглую башню молчания. На верхнюю площадку этой башни они, после совершения необходимых обрядов, перенесли тело девушки. Когда отчаяние, вызванное её смертью, уступило место тяжкому горю, пути трёх брахманов разошлись.

Один из них соорудил хижину у подножия башни молчания и поселился в ней. Целые дни и ночи проводил он возле девушки, не позволяя коснуться её тела шакалам и хищным птицам. Другой пошёл в монастырь и стал замаливать грехи девушки. В её чистой жизни было совсем мало грехов, а молился брахман так искренне и усердно, что боги услышали его молитвы и тело, освобождённое даже от тени греха, стало нетленным. А третий брахман пошёл скитаться по всему миру, потому что именно во время странствий расцветают две сестры — свобода и учёность, которые не дают проникнуть в душу сладкой отраве забвения. И вот



учённость третьего брахмана возросла настолько, что он стал равен Видьядхаре и вкусил бессмертный напиток богов — амриту.

Обогащённый этим великим познанием, третий брахман вернулся в родную землю и вместе со вторым брахманом, вышедшим после молений из монастыря, пришёл к башне молчания, где возле своей хижины ждал их первый брахман, который ни на минуту не покинул тело девушки. Здесь третий брахман совершил чудо воскрешения. Девушка вздохнула и ожила, ещё более прекрасная, чем раньше. Кто же из трёх брахманов должен был стать по праву её мужем? Если раньше девушка не знала, на ком остановить свой выбор, то теперь, пройдя через испытания любви и смерти, она не колебалась...

Резкий сигнал машины, раздавшийся за окном, прервал рассказ на полуслове. Думаю, что Шапшал этого и хотел.

— Пора! — сказал Сергей Маркович. — Конец я расскажу после вашего возвращения. А вы подумайте, мой друг, — кто же по праву должен стать мужем девушки?

«НЕ ПОНИМАЮ»

Мы обнялись. Пока Варнас одевался, я тоже натянул плащ, пристегнул ремни рюкзака. Как только вышел на улицу, холодный утренний ветер резанул лицо. Грузовик с открытым тентом стоял у калитки. Все мои спутники уже сидели наверху. Я подошёл, поздоровался.

— Лабас ритас! (Доброе утро!) — Ответили из кузова.

Впрочем, ответили не все.

— Товарищ Варнас, — сказал я, — я поеду наверху, а вы садитесь в кабину.

— В кабине место начальника экспедиции, — холодно отозвался Варнас.

— Вы наш проводник, — настоял я. — Из кабины легче расспрашивать и давать указания шоферу. Поднялся в кузов. Сел на передней скамье.

— Путь в Жемайтию, на Мажейке? — спросил Варнас.

— Да, конечно, как условились.

Машина тронулась, выбралась из кривых и узких улочек на окраину города и, набирая скорость, помчалась по шоссе. Шофер Стасис Нагявичус — стройный молодой парень с лицом Мефистофеля, но голубоглазый и русский — вел машину уверенно и смело. Мы ехали быстро, но все же, хотя и мельком, могли увидеть много интересного. Разноцветные лоскутья полей, берёзовые рощи, огромные придорожные кресты сменялись хуторами с жалкими курными избами, из волоковых оконцев которых нехотя выплывал сизый дым. А потом промелькнуло заброшенное имение. В парке белел дворец со строгим ампиром колонн. Аллеи из вековых тополей спускались с холма к дороге, а вдоль аллей — террасы искусственных прудов с белыми и жёлтыми головками лилий и кувшинок. Мои спутники вполголоса переговаривались между собой. Странно и тревожно звучала музыка почти непонятной мне чужой речи.

Миновав несколько чистеньких одноэтажных городков, мы остановились в открытом поле, чтобы обсудить, какой дорогой ехать в Шауляй, где мне хотелось осмотреть лучший из провинциальных музеев Литвы.

— Как вы считаете, Нагявичус? — спросил я. — Вам как шоферу виднее.

Но голубоглазый Мефистофель только пробормотал в ответ:

— Не супраяту (не понимаю), — и отвернулся.

Ах, вот оно что! Не понимаешь, значит. А не далее как позавчера я видел Нагявичуса возле гаража, когда он в беседе с другими шоферами не только понимал, но и отлично сам произносил весьма крепкие русские выражения. Ну что ж, насильно мил не будешь. Затянувшееся неловкое молчание прервал завхоз экспедиции Юозас Моравкис, несмело предложивший:

— Может быть, поедем через Пайстрис?

— Нет, — ответил я. — Поедем через Радвилишкис. Эта дорога короче и интереснее.

Добродушная улыбка медленно сошла с открытого лица Моравкиса, и оно вытянулось.

— Откуда вы знаете дорогу на Шауляй? — осторожно спросил он.

Я ответил с невольным вызовом:

— Служил в этих местах в армии в сорок первом году.

Мы снова сели в машину и поехали, только теперь в полном молчании. Черт возьми, кажется, мой первый разговор с сотрудниками экспедиции после выезда в поле был весьма неудачным. Я поймал из кабины ободряющий взгляд Варнаса и немного успокоился.

Так, в молчании, доехали мы до Шауляя. Славный город Шауляй, под стенами которого в 1236 году разыгралось одно из самых важных в истории Литвы сражений. Здесь первый глава объединённого Литовского государства — великий князь Миндовг, друг и союзник Александра Невского, наголову разбил закованных в железо рыцарей бандитского Ордена меченосцев. Рыцари бежали, а многие из них, в том числе и сам магистр ордена Волквин, были убиты. Меченосцев отбросили за Двину. Литва была освобождена от христианнейших немецких грабителей и убийц.

Мы проехали по тихим улицам этого города и остановились у входа в известный музей с поэтическим названием «Аушра» — «Заря». Директора не оказалось на месте, и объяснения нам давал его заместитель — пожилой человек с очень выпуклыми стёклами очков и каким-то желтоватым лицом. Музей действительно был великолепен, очень рационально и просто распланирован. Редкие колонны подчёркивали простор чистых и светлых залов.

Мы рассматривали этнографическую коллекцию музея, резную деревянную утварь, крестьянские домотканые одежды из различных районов Литвы, грубые, наивные и выразительные изображения различных святых во власяницах, вытканых на коврах. Я заметил, что в некоторых залах витрины пусты, и спросил, в чем дело.

Замдиректора, помявшись, ответил:

— Во время войны наиболее ценные экспонаты были розданы для хранения верным людям.

— Да, — возразил я, — но война кончилась уже около года назад. Почему же экспонаты все ещё не в музее?

Замдиректора окончательно смутился, не ответил, и я понял, что по каким-то причинам мой вопрос был бестактным. Осмотрев экспозицию, мы перешли в запасники, где оказалось много интересных археологических вещей различных эпох. Неожиданно я заметил, что

замдиректора застыл на одном месте, пытаясь закрыть от меня что-то находящееся за его спиной. Однако, проходя мимо, я все же увидел это нечто и с изумлением убедился, что это карта Литовского великого княжества времён Витовта, начала XV века.

— Простите, — спросил я. — Объясните мне, пожалуйста, в чем дело? Я случайно увидел эту карту. Почему вы хотели скрыть ее от меня?

Лицо замдиректора ещё больше пожелтело, и он смущённо и взволнованно ответил:

— Видите ли, при Витаутасе восточная граница Литовского государства проходила между Можайском и Вязьмой.

Я не мог сдержать улыбки и тут же сказал:

— Ну и что же? А теперь граница нашего с вами государства проходит на тысячи километров восточнее — по берегу Тихого океана. Кроме того, бессмысленно пытаться закрыть спиной историческую правду. А что касается этой карты, то она напечатана во всех наших школьных учебниках истории.

Лицо замдиректора выразило неподдельное изумление, а один из археологов — костлявый высокий Альфред Басапавичус расхохотался так, что очки съехали на конец его хрящеватого носа. Сотрудники экспедиции окружили нас.

— Это именно так? — осведомился замдиректора.

— О господи! Да ну конечно так!

Ага, я, кажется, понял, в чем дело. В буржуазной Литве правительство Сметоны носилось с бредовым планом создания «великой Литвы от моря до моря» и в качестве «обоснования» своих претензий ссылалось на границы Литовского великого княжества времён Витовта. Тогда значительная часть Руси, раздробленной усобицами и разорённой татарским игмом, временно вошла в границы этого княжества.

Ну что ж, наконец мне удалось хотя бы немного растопить лёд в наших отношениях. Доказательство появилось очень скоро. Когда мы уезжали, замдиректора преподнёс мне полный комплект журнала «Гимтасай краштос» («Родной край»), который издавал музей с 1934 по 1944 год.

— Вы легко сумеете отделить буржуазную пропаганду от тех интересных материалов, которые помещены в журнале, — сказал замдиректора.

— Да, конечно, — ответил я. — Мне уже доводилось читать несколько выпусков журнала в нашей институтской библиотеке, но полный комплект я вижу в первый раз. Большое спасибо.

Мы дружески распрощались с гостеприимным гидом и тронулись. С удовольствием слушая, как мои спутники принялись непринуждённо болтать в машине, я подумал, что удалось выиграть хоть одно, пусть даже маленькое сражение...

Едва начались длинные северные сумерки, как Варнас забеспокоился и направил машину к какому-то хутору.

Вдоль дороги, ведущей к хутору, и вокруг усадьбы стояли высокие тёмные ели. Громадный добротный дом был сделан из тёмных рубленых метровой ширины досок. Из такого же материала был сооружён и амбар, вплотную примыкавший к дому. Ровные ряды побелённых внизу яблонь, ветро-электродвигатель, шланги водяного насоса в бетонированном водоёме — все говорило о достатке и образцово поставленном хозяйстве.

Навстречу машине не торопясь вышел хозяин. Наклонив большую, квадратную голову с жёстким густым ёжиком седых волос, широко расставив протянутые руки с короткими толстыми пальцами, он улыбнулся в большие белые усы и так радостно приветствовал Варнаса, что я даже почувствовал нечто вроде ревности. Однако Варнас сдержанно ответил на приветствия хозяина и немногословно попросил разрешения для экспедиции переночевать на хуторе. Старик, собрав множество морщинок вокруг узких монгольских глаз, шумно выразил свой восторг. Он расстегнул белый парусиновый пиджак, и стала видна толстая золотая цепочка, идущая от одного жилетного кармана к другому. Началась церемония представления. Услышав мою фамилию и звание, старик Гедвилис тут же едва заметным движением застегнул пиджак и удвоил количество улыбок.

Помывшись, мы вместе с семьей хозяина уселись за большой стол, под тенью старого дуба. Два стройных светловолосых сына Гедвилиса с серебряными перстнями на средних пальцах, едва ответив на наше приветствие, хранили за столом полное молчание. Подавала хозяйка — сгорбленная бесцветная женщина с морщинистым лицом. Ставя миски с едой на стол, она кланялась каждому, даже собственным сыновьям. Хозяин Юозас Гедвилис вел степенный разговор, из которого явствовало, что человек он бывалый. В прошлом видный земский деятель, депутат 11 Государственной думы, он в 1913 году поселился в лесу, среди заболоченной местности, и основал этот ныне процветающий хутор. Время от времени я ловил обращённый на меня настороженный взгляд Гедвилиса, но, как только мы встречались взглядами, старик расплывался в широкой улыбке и гостеприимно предлагал попробовать ещё одно из многих блюд, стоявших на столе. После обильного и вкусного ужина хозяин притащил откуда-то толстую книгу в потёртом бархатном переплёте и напыщенно сказал мне:

— Вот, извольте, окажите честь сельскому анахорету — распишитесь в этой книге почётных посетителей. Книга ведётся с самого основания хутора, с 1913 года.

Я с интересом перелистал книгу, в которой было множество записей на разных языках. Здесь и размашистые каракули купца первой гильдии Самошникова, и ровные канцелярские буквы какого-то литовского министра, подписи художников, учёных, чиновников и писателей. Но что это? Прямые, с сильным нажимом латинские буквы: штурмбанфюрер СС Манфред Шарнгорст, шарфюрер СС фон Глобке. Я отложил услужливо протянутую мне хозяином ручку.

— Простите, — сказал я, — не могу поставить свою подпись рядом с подписью эсэсовских офицеров.

— Когда ко мне приезжает гость, — сурово ответил Гедвилис, — я не спрашиваю, кто он. Каждому гостю рад. Честью почитаю оказать страннику гостеприимство, имя и звание не спрашиваю. Здесь я лишь радушный хозяин и вне политики.

— Простите, господин Гедвилис, — отозвался я, — но я-то не вне политики. За гостеприимство спасибо, а подписи своей в этой книге я поставить не могу.

Я видел, что мои товарищи по экспедиции не слишком довольны моим ответом, но другого выхода у меня все равно не было.

Гедвилис, пожав плечами, улыбнулся и сказал:

— Что же, у каждого свои понятия. Настаивать не смею. Не окажете ли мне честь в совместной прогулке осмотреть службы и хозяйство?

Я охотно согласился. Довольно долго Гедвилис водил меня по усадьбе.

— Вот, — говорил он, — обратите внимание: раньше было ядовитое болото, а теперь

яблоневого сада. Вот эту ель, как и все вокруг, сам своими руками посадил. Сам обрабатывал. А теперь оставили всего сорок гектаров земли. Да и те грозятся отобрать. Показательное советское хозяйство из моей усадьбы проектируют устроить, — с горькой усмешкой сказал он.

— А сколько же у вас раньше земли было? — Поинтересовался я.

— До полутора гектаров, — с гордостью ответил Гедвилис.

— Неужто все полтора гектаров своими руками обрабатывали?

— Бог дал сыновей-тружеников, не оставили старика без помощи, — сощурился Гедвилис.

— Вашим сыновьям лет по восемнадцать—двадцать. А до того как они выросли, неужто всю землю сами обрабатывали?

Гедвилис осклабился:

— Уже стемнело. Вам бы пора и на покой. Устали с дороги. Отдыхайте. Простите, что задержал глупым разговором.

— Да нет, что вы, — ответил я, — разговор был очень интересным.

Я направился к сеновалу, где под одеялами уже лежали на сене мои спутники. Однако у самого входа меня остановил неожиданно выступивший из темноты наш сотрудник Балис Крижаускас, молодой человек с острыми лисьими чертами лица.

— Товарищ начальник, — зашептал он, — хочу сообщить вам совершенно конфиденциально. В лесу возле хутора сидят бандиты, и Гедвилис с ними связан. Я сам слышал, как они в кустах расспрашивали одного из его сыновей, кто это приехал. А Варнас завел нас в это волчье логово. У него был умысел!

А, черт бы побрал этого доносчика и труса! С трудом подавив желание как следует обругать его, я с удовольствием стал обдумывать в уме фразу, из которой явствовало бы, что экспедиция больше не нуждается в его услугах. И вдруг всплыла передо мной добрая улыбка Шапшала и вся эта история с иранским советником, в которой было нечто больше полуанекдотической фабулы.

Поневоле помедлив, я сказал:

— Слушайте меня внимательно, Крижаускас! Да, у Варнаса был умысел, и этот умысел мне известен. Я знаю, что Гедвилис — богатый кулак и связан с бандитами. Он справедливо боится раскулачивания. Именно поэтому у него на хуторе нас никто не тронет. Вы меня поняли?

Крижаускас испуганно мотнул головой и исчез в темноте так же неожиданно, как и появился.

Когда я взобрался на сеновал и лёг, то почувствовал, как хорошо знакомая рука пожала мою руку. Видно, не я один бодрствовал в этот вечер.

Я долго не мог заснуть. Кончился первый день работы экспедиции. Руководитель Института истории Литовской Академии наук, который предложил мне возглавить эту экспедицию, просил не только провести археологическую разведку в малоизученных районах Жемайтии (Западной Литвы), но и сплотить коллектив. Неважно закончился первый день. Мои спутники мне не доверяют, некоторые очень холодны, а может быть, и враждебны. Мы ничего не сделали в этот первый день. Я совершил много ошибок, хотя, казалось, все заранее было продумано. У меня за плечами был уже большой опыт трудных экспедиций. Вспомнились

раскопки в Каракумах, очень сложные в военное время работы в небольшом древнерусском городке на берегу Москвы–реки, участие в качестве эксперта в работе Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию немецко–фашистских злодеяний в Краснодарском крае и многое другое. Казалось, что я уже встречал самые различные трудности и научился их преодолевать. А тут встретились трудности самые неожиданные. Дружный коллектив экспедиции был для меня раньше само собой разумеющимся фактом. Этот коллектив был создан нашими учителями, складывался как–то быстро и незаметно в совместной работе. А здесь оказалось, что именно этого, казалось бы само собой разумеющегося, и нет. Литва переживает сложный период начала коллективизации. Ещё скрываются в лесах, после, войны банды немецких фашистов и их литовских прихвостней... Тут было над чем задуматься. Я никого не знаю из моих спутников. И только один — Владас Варнас, с которым я познакомился ещё несколько лет назад, — верный и надёжный друг.

По всему Союзу разбросаны в экспедициях мои университетские товарищи, оставшиеся в живых после войны. Трудные условия. Да и к чему, в сущности, мне эта работа с людьми, которых я не понимаю, да ещё в такой сложной и опасной обстановке?

Может быть, честнее и лучше уехать, сказать академику, что я недооценил трудностей и не рассчитал своих сил? С этими–то мыслями я и пытался уснуть, и вдруг в памяти неожиданно всплыла сказка Шапшала. А кто же и в самом деле имеет право стать мужем девушки? Это отвлекло меня немного от грустных размышлений, и я уснул.

Утром мы пересекли реку Невежис и въехали в уезд Мажейке, который находился уже в Жемайтии. Вдоль дороги потянулись тёмные дубовые леса. Деревни почти совершенно исчезли. Их место заняли затерянные среди болот и чащоб хутора. Редкие путники, встречавшиеся нам на лесной дороге, были одеты уже не по–городскому, а в домотканую одежду. Вот прошли две девушки в шерстяных юбках с широкими горизонтальными полосами, в полосатых же безрукавках, стянутых на груди шнуром, в тёмных, в талию кофтах с широкими вышитыми поясами, в деревянных башмаках — клумпасах, с загнутыми вверх носами, с изящной резьбой. На голове у одной был венок из полевых цветов с заплетёнными в него лентами — вайникос.

Мы ехали уже несколько часов по Жемайтии, как вдруг машина остановилась возле старинного кладбища. Я с удивлением наблюдал за действиями моих спутников. Машину с дороги загнали за густой кустарник, так что её совершенно не стало видно. Из машины вышли и отправились в сторону кладбища Басанавичус, Варнас с рюкзаком за плечами, Моравкис с плоскогубцами.

— Товарищ Варнас, — спросил я, — куда это вы все направляетесь?

— Выполнить одно поручение академика, — смущённо ответил Варнас.

— Какое поручение?

Но Варнас только пожал плечами. Пришлось удовлетвориться этим туманным объяснением, чтобы не поругаться.

Потом все трое вернулись бегом, вскочили в машину, которую завел Нагявичус, как только увидел бегущих, и мы быстро поехали. Я заметил, что рюкзак Варнаса, пустой, когда он уходил, теперь был набит до отказа.

Примерно через час, не доезжая до развилки дорог, машину снова замаскировали, и вся история повторилась сначала. Мне оставалось только недоумевать и злиться, потому что происходило что–то непонятное, а мне, начальнику экспедиции, не считали нужным это объяснить. Снова горькое чувство одиночества, сознание того, что мне не доверяют мои же товарищи, охватило меня. Расспрашивать снова казалось неудобным.

Под вечер мы подъехали к широкой речной заводи, за которой находилось имение Сантекле; возле него должна была начаться наша работа. В этом бывшем имении мы и предполагали переночевать. Но паромщица отказалась переправлять нашу машину, потому что из-за жары вода очень спала, и паром мог сесть на мель. Варнас молча, но заметно нервничал. В сгущающихся сумерках мы не без труда нашли хутор и стали ждать возвращения хозяев, чтобы попроситься переночевать. Хозяйева, как объяснила нам их двенадцатилетняя дочка, отправились в Сантекле на традиционные сельские конноспортивные состязания. Оттуда из-за реки доносились звуки духового оркестра. Наконец, когда мы уже начали изнемогать от голода, вернулись разгорячённые праздником хозяева. Хозяйка, весёлая и румяная молодая женщина, узнав, что мы так долго ждали, сказала, что приготовит нам коше жемайче — жемайтийскую кашу, традиционное национальное блюдо, как объяснили мне мои спутники. Тут же приветливо загудела печка. Через двадцать минут коше жемайче была уже готова и дымилась на столе в тарелках. Я так и не понял, из чего она была сделана. Знаю только, что не без участия сметаны и поджаренного сала. Крижаускас тихонько шепнул мне, когда хозяйка пошла к печке за новой порцией:

— Только не вздумайте предлагать деньги за еду!

— Почему это? — спросил я, недоумеваю, так как на других хуторах мы щедро платили за все.

Оказалось, что коше жемайче — не только народное блюдо жемайтийцев, но еще и священное блюдо. За него нельзя брать денег, и даже предлагать за него деньги — значит обидеть хозяев. Поэтому трудно умереть с голоду в Жемайтии. Эта трогательная народная традиция гостеприимства существует с незапамятных времен.

И снова ночью я не мог долго уснуть — явление для археолога поистине необычное. Лёжа в копне свежего сена, я снова и снова пытался сообразить, куда и зачем уходят мои спутники по экспедиции. Да, выяснить это не легче, чем решить загадку Шапшала.

«НЕТ! НЕТ! НИКОГДА!»

Утро началось событием, которое запечатлелось в моей памяти на всю жизнь. Оставив машину на просёлке, мы пешком углубились в лес. Нашим проводником был десятилетний мальчишка, как мы его в шутку звали, понас (господин) Симонс, облачённый в рваные штанишки и рубашку, обутой в деревянные клумпасы и с роскошным когда-то котелком на голове, обшитым по краю полей чёрной шёлковой лептой. Мальчишка завел нас в болото и часа два, как заяц, прыгал по кочкам. Мы вспотели и измучились, едва поспевая за ним. В конце концов перед нами открылась трясина, переходящая в широкое озеро. Мальчишка обернулся, снял котелок, потрянул хохолком льняных волос и, серьёзно сказав: «Кольгринда!» — вступил прямо в трясину, которая вскоре дошла ему почти до подбородка. Понас Симонс бесстрашно шёл дальше. Я невольно замешкался, глядя на предательскую ярко-зелёную траву и чёрную жижу, которые колыхались вокруг мальчишки.

— Идите за мальчиком. Точно повторяйте его путь! — Сказал Варнас.

Я так и сделал и вдруг ощутил под ногами не просто твёрдую почву, а каменную вымостку. Как и почему она оказалась здесь? Но было не до размышлений. Без мальчишки мы, конечно, не только не нашли бы этой вымостки, но даже если бы и нашли, то неминуемо свалились бы с неё в трясину, потому что она шла не прямо, а изгибалась под различными углами. Так шли мы довольно долго, и вдруг перед нами открылось невиданное зрелище. Один возле другого стояли два высоких крутых холма. Доступ к вершине первого холма был

преграждён со стороны леса двумя полукруглыми валами. На плато большего холма находилось какое-то возвышение, видимо остатки цитадели. С вершины открывался широкий вид на леса и болота, на озера и речки, а сам холм весь светился в лучах утреннего солнца.

— Это и есть жемайтский пильякалнис, — торжественно сказал Басанавичус, — замковая гора, городище. А высокий, но более узкий холм рядом — это Алкакалнис (Святая гора), или Персепил (сторожевой замок). А ещё такие холмы называют Жертвенная гора, Перкункалнай (Гора Перкуна), Шаулекалнай (Гора солнца). — Когда появились первые пильякалнисы? — Спросил я.

— Ещё в конце каменного века. Много их соорудилось в эпохи бронзы и раннего железа, ещё больше в IX — XII веках, когда существовали отдельные литовские феодальные княжества — Жемайтия, Нижняя, или Западная, Литва, Аукштайтия — Восточная, или Верхняя, Литва, Делтува и другие. Но особенно большую роль играли пильякалнисы начиная с XIII века, когда, объединившись в одно государство — Литовское великое княжество, литовцы сражались против католических немецких рыцарских орденов...

Пока Басанавичус рассказывал мне историю жемайтских пильякалнисов, а остальные обмеряли оба холма и закладывали шурфы, я пристально, с некоторым недоумением всматривался в городище. Что это? Ведь я впервые вижу пильякалнис, а меня не покидает впечатление, что я уже знаком с ним? Какая величественная и выразительная картина! Ах, вот в чем дело! Именно картина! В Каунасе в музее имени Чюрлиониса я видел картину этого замечательного художника, которая так и называется — «Пилис» («Замок»). Реалистично, в самом высоком смысле этого понятия, передал художник величие жемайтского пильякалниса, его пропорции, то грандиозное впечатление, которое он производит. Может быть, именно этот пильякалнис послужил в качестве натуры для картины. Только у Чюрлиониса на валах видны каменные стены, а на плато городища возвышается грозный замок — цитадель...

...Вечерело. Посланец русского князя Александра Ярославича Невского — воевода Дмитрий Иванович сидел и палате замка, отведённой ему начальником местного гарнизона, и предавался невёсёлым думам. Третью неделю со своим маленьким конным отрядом пробирается он с помощью проводников по глухим лесам и болотам к жмудскому князю Трайанту. С тех пор как пересекли реку Невежис и углубились в Жемайтию, воевода не видел ни одного села, ни одного города. Только непроходимые лесные чащи, болота, а на узких лесных дорогах засеки из вековых деревьев. Возле них, как из-под земли, появлялись угрюмые воины, останавливали отряд, но, узнав, что едут руссы, с честью отпускали старых верных союзников. Когда воевода спрашивал проводников, где же живут жмудины, они отвечали, что есть и села, и города, только невидимые для стороннего глаза. А сегодня утром воевода увидел наконец селение. На берегу реки, вокруг двух холмов, стояли похожие на крепости крестьянские дома — нумасы, рубленные из огромных толстых брёвен, с маленькими оконцами и задвижными деревянными ставнями, дома, заключавшие под одной крышей и жильё, и клеть, и амбар. Возле посёлка виднелись пашни, а на лужайке дымились и тлели полусасыпанные землей стволы, возле которых сидели углежоги. Угля и в самом деле, видно, нужно было много. На берегу реки стояли каменные домницы для плавки железа, синели груды добротной болотной руды, которую то и дело подвозили на больших телегах — кардесах. А в самом селении стучали молотки, глухо ударяли молоты. Это оружейники ковали копья, мечи, стрелы и другое славное литовское оружие. Сами рыцари почитали его, как ценную добычу. Путь к замку, который возвышался на вершине крутого холма, преграждала широкая и глубокая река. Поперёк реки стояли, отгораживая узкий извилистый проход, дубовые ветви — вехи. Между вехами сновали через реку люди, свободно проезжали всадники.

«Кольгринда» — «каменный пол», насыпанный под водой поперёк реки, назывался этот проход, как объяснил боярину проводник. Когда кони, фыркающая и пугливо косящая глаза на воду,



вынесли отряд воеводы через реку к подножию холма и здесь пришлось пробираться с великими трудами по узкой, крутой тропинке, через проем в дубовой башне ограды. Воевода устал и с удовольствием принял предложение местного князя, по-литовски конунга, Пранаса побывать в замке, пока Трайант, извещенный гонцами, прибудет сюда для встречи с послом. Сам воевода Дмитрий Иванович относился к своему посольству очень скептически. Конечно, храбра Литва, жизнью в которой гордился сам былинный богатырь Илья Муромец. Много раз отбивала она нападения отрядов морских разбойников — варягов. Но то были короткие набеги, а не всеокрушающее нашествие нового страшного врага, который появился на границах Литвы и Руси вот уже с полвека. Сначала на двадцати трёх кораблях в устье Двины ворвался епископ Альберт из немецкого города Бремена, во главе банды рыцарей. Рыцари уничтожили местных жителей, основали крепость Ригу, в которой Альберт, с благословения римского папы, учредил Орден меченосцев. Потом такая же банда — Тевтонский орден, которому изрядно намяли бока арабы в Палестине, — обманным путём проникла в Польшу и через несколько лет начисто уничтожила многочисленные племена родственных литовцам пруссов. От них и осталось только одно название страны — Пруссия. А потом оба рыцарских ордена объединились в один — Ливонский орден. Это была страшная угроза для всех народов, и прежде всего для Руси и Литвы. Под видом приобщения к христианской вере «братья рыцари» грабили и убивали, сжигали целые деревни и города, захватывая земли и ценности. «Братья священники» именем божьим прикрывали все эти насилия и преступления. Литовцы, латыши, эстонцы, население северо-западной Руси находились под угрозой уничтожения. Несколько лет назад на льду Чудского озера князь Александр Ярославич разгромил рыцарские войска. Но с тех пор Орден оправился и сейчас вновь подбирался к Литве. Друг и союзник Александра Невского — великий князь Миндовг встал во главе объединенного Литовского государства. Это усилило Литву, как и союз с русскими, но опасность всё ещё была очень велика. Князь Жмуди Трайант хотя и ненавидел рыцарей, но, боясь усиления Миндовга, не очень охотно выполнял его приказания. А сейчас важно было объединить все силы в борьбе против общего врага. Всего несколько лет назад рыцари захватили на побережье Балтийского моря город Клайпеду и на его месте основали свою крепость Мемельсбург — кинжал, направленный в сердце Жемайтии. И сразу же до Руси стали доходить страшные слухи о том, что крестоносцы, нападая по своему обыкновению ночью, полностью уничтожили население Юнигенды, Путеников и других жемайтийских поселений. Жемайтия, или как её по-русски называют — Жмудь, оказалась на переднем крае огромного фронта борьбы против крестоносцев. Поэтому очень важно было помочь Жмуди, заключить с ней союз, действовать совместно против рыцарей. Но что могла противопоставить страна крестьян-смердов закованным в железо, вооруженным до зубов рыцарям, имеющим огромный боевой опыт во многих странах мира? Правда, по всей стране есть на дорогах засеки, стоит сторожевая служба. Правда, на том поселении, где воевода нашёл приют, день и ночь варят железо, куют оружие. В крепости сильный гарнизон, умелый и опытный конунг — Пранас. Не так-то легко пройти к крепости через извилистый брод по реке. А если и пройдёшь — взять две высокие стены и сам замок. Но в замке всего восемьдесят воинов, да и сколько таких замков в Жмуди? Нет! Судьба Жмуди решена, ничто не отвлечёт от неё неминуемой гибели. Все это посольство ни к чему, разве чтобы принять смерть вместе со старыми товарищами в бою против общего врага.

От этих мыслей оторвал воеводу конунг Пранас. Он предложил посмотреть святилище на вершине крутого высокого холма, рядом с замком. Они с большим трудом вскарабкались по отвесному склону на маленькую круглую площадку. Здесь под густой листвой огромного дуба воевода увидел жреца, опиравшегося на кривую, изогнутую булаву с набалдашником в виде человеческой головы. Жрец стоял неподвижно, а вокруг ног его извивались большие змеи.

— Не бойся, Дмитрий, — сказал Пранас отпрянувшему было воеводе, — это священные змеи Перкунаса, они не причиняют вреда.

Успокоившись, воевода увидел в самом центре площадки грубо высеченную из камня статую

Перкунаса, а возле него круглый жертвенник, на котором горел огонь. Время от времени в этот огонь девушка–вайделотка[6] подбрасывала веточки из огромной кучи хвороста, лежавшей на самой вершине площадки.

Воевода осторожно спросил:

— Почему Литва до сих пор не приняла христианства, почему так держится за языческую веру?

— Великий русский конунг Владимир по доброй воле выбрал христианскую греческую веру, — ответил Пранас. — А нам римский папа прислал своих патеров вместе с убийцами–рыцарями.

Воевода промолчал. Спорить было трудно, да и не его дело обращать язычников в Христову веру.

Совсем стемнело. Лес был совершенно чёрным. Иногда только тускло поблескивало зеркало реки у подножия пильякалниса и железные наконечники копий часовых на стенках. А внизу в посёлке то там, то здесь пробегало темно–красное пламя на грудах остывающего железного шлака. И вдруг в темноте стала видна светящаяся точка, быстро приближавшаяся к городищу. Вот она уже у берега реки. Вслед за тем раздался хриплый вой сигнальной трубы. Девушка–вайделотка, взметнувшись от алтаря Перкунаса, белой птицей подлетела к куче хвороста и поднесла к ней горящую ветку из жертвенника. Вспыхнул огромный костёр, стало совсем светло. Конунг отрывисто бросил: «Рыцари!» — и побежал к замку. Воевода еле поспевал за ним. В посёлке у подножия пильякалниса все пришло в движение. Женщины, унося детей, шли под охраной мужчин в сторону леса, впереди гнали перепуганных коров и овец. Другая часть мужчин, вооружившись чем попало, поднималась к стенам замка, а всадник на тёмной лошади, вестник с далёкой лесной засеки, швырнув в траву факел, продолжал трубить сигнал тревоги в длинную деревянную трубу. Вехи с кольгринды были убраны, и ничто не указывало её следа на широкой глади реки.

Прошло совсем немного времени, и посёлок у подножия замка совершенно опустел. А пламя на вершине горы Перкунаса продолжало гореть с прежней силой.

— Зачем это сигнальный костёр, Пранас? — спросил воевода. — Он выдаёт пильякалнис врагам. А в замке уже нее знают о нашествии.

— Враг и так идёт к пильякалнису, иначе вестник с заставы не прискакал бы сюда, — ответил конунг, — а наше пламя выдает врага всей стране.

— Как же так? — Недоумевая, спросил воевода.

— На каждой сторожевой горе — горе Перкунаса — днем и ночью у алтаря горит священный огонь. Едва рыцари перейдут границу Жемайтии, на ближайшем городище зажигают большой костёр. Свет его видят в соседнем замке и тоже зажигают костёр. И так по цепочке вспыхивают огни. Через час вся страна будет знать, что идут крестоносцы. Взгляни вокруг!

Воевода увидел справа и слева от городища далёкие, но хорошо заметные языки пламени. Вдруг прямо перед ним поднялось огромное далекое зарево.

— Это вспыхнул костёр на Шатер–горе — Шатрии — самой высокой горе Жемайтии. Он виден далеко–далеко, и сейчас в ответ загорится костёр на другой огромной горе, Медведь–горе — Медвегалис, — сказал конунг. — Между этими горами более тридцати пяти вёрст, но огонь, зажжённый на одной из них, хорошо виден на другой.

— Сколько же таких гор–замков в Литве? — спросил пораженный воевода.

— Более полутора тысяч, — гордо отозвался конунг. — Мы использовали все холмы среди болот и лесов, укрепили их и даже насыпали совсем новые. Их строили все. Мужчины носили землю в мешках, женщины — в подолах. На прусской границе, вдоль течения Немана, по всем дорогам, ведущим в глубь Жемайтии, — везде укрепления находятся на расстоянии пяти–шести вёрст друг от друга. Рыцари хотят истребить всех, кто не признает их господами, а остальных превратить в рабочий скот. Но каждый жемайтиец говорит: «Нет! Нет! Никогда! Не бывать этому!» А теперь вернись в замок. Слышишь — немцы. Послу не годится подвергать свою жизнь опасности.

Но воевода только усмехнулся в ответ. Он приказал выстроиться своему маленькому отряду и пристегнул личину — железную полумаску с прорезью для глаз, предохраняющую от стрел и копий. А из леса показались сражающиеся: литовские воины в толстых кожаных рубахах и конные рыцари в железных доспехах, с белыми плащами, на которых были вышиты красный крест и меч. Рыцари медленно теснили отступающих литовцев — бойцов из кордонной засеки, которые должны были предупредить о вторжении врага и задержать его возможно дольше, чтобы гарнизоны пильякалнисов успели подготовиться к обороне. Рыцари после ожесточённой схватки оттеснили литовцев в посёлок, и вот уже вспыхнули подождённые крестоносными факельщиками дома, и пламя от них смешалось с бледным светом наступающего утра. Последние литовские воины были сброшены в реку, и рыцари, смешав строй, с торжествующим рёвом кинулись за ними. Но быстрая и глубокая река подхватила, закружила тяжело вооружённых всадников, понесла их вниз, потянула на дно. Вот одна лошадь вскарабкалась на невидимую кольгринду; рыцарь, взмахом руки позвав за собой остальных, поехал было вперёд, но тут же лошадь снова ушла под воду, потеряв из-под ног резко свернувшую в сторону каменную вымостку. Только немногим рыцарям, въехавшим в реку, удалось выбраться обратно на берег, где в нерешительности топтались те, кто предпочел остаться сухим. Тогда командир — комтур в двурогом железном шлеме, приказал одному отряду окружить со всех сторон пильякалнис, другому грабить посёлок, а третьему — вязать плоты из бревён стен ещё не сгоревших домов посёлка. Воевода с тревогой следил за действиями крестоносцев. В это время у дубовых ворот внешней стены пильякалниса выстроился конный отряд гарнизона крепости. Воевода со своими товарищами присоединился к нему и подъехал к Пранасу. Пранас в кожаном нагруднике поверх белой рубашки пристально смотрел за реку на посёлок. Тяжёлый меч с полукруглым навершием свешивался на бок могучего вороного коня, на котором сидел конунг. Древко копья упиралось в инкрустированное золотом стремя. Такая же инкрустация покрывала рукоять меча. На жёлтой кожаной узде сверкали серебряные бляшки с изображением звериных голов. Даже хвост коня был украшен большим спиральным серебряным браслетом. А на самом конунге не было никаких украшений. Только к нагруднику приколот маленький зелёный цветок с твёрдыми листьями.

Воевода с тревогой оказал Пранасу:

— Не дело стоять сложа руки, когда враг готовит плоты для переправы. Нужно пойти на вылазку.

— Потерпи, Дмитрий, — ответил конунг, — ещё не настало наше время.

— А как же кони найдут переправу, когда сняты все вехи с реки?

— Наши кони перейдут по кольгринде даже с завязанными глазами, — усмехнулся Пранас, — вели во время вылазки своим всадникам идти за нашими.

— Скажи, конунг, почему твой конь так богато изукрашен, а у тебя нет ни серебряной гривны, никаких знаков твоего достоинства, а только маленький зелёный цветок? — Спросил воевода.

— Это рута — вечнозелёный цветок нашей родной Жемайтии, — гордо ответил Пранас. — Как никогда не увянет рута, так никогда не будет уничтожена свобода Жемайтии. Этот цветок нам дороже всех драгоценностей.

Первые плоты были уже готовы, и несколько рыцарей, привязав концы верёвок к лукам седел, подтаскивали их к воде. Вдруг послышался знакомый уже воеводе хриплый вой трубы. Сигнальные костры сослужили свою службу. Всадник в блестящих доспехах — князь Трайант во главе своей конной дружины и отряды крестьянского ополчения, пришедшие на помощь гарнизону пильякалниса, ринулись на крестоносцев. Всадники рубились мечами, кололи копьями, пешие крюками и баграми стаскивали крестоносцев с седел и добивали их на земле широкими кривыми ножами. Тогда гарнизон во главе с Пранасом пошёл на вылазку. Кони вихрем пролетели через кольгринду. Литовские и русские воины обрушились на врага с берега. Крестоносцы дрогнули, ряды их смешались. Рыцари бежали, теряя окровавленные белые плащи. Через час все было кончено. В посёлке перевязывали раненых, разбирали остатки сгоревших домов. На горе Перкунаса жрец приносил благодарность богам за победу над врагом. А воевода печально стоял у огромного костра, на котором лежало тело конунга Пранаса, погибшего в бою. Пепел сожжённого положили в большой глиняный сосуд его друзья и сам князь Трайант и опустили сосуд в могилу. Возле могилы конунга воины выкопали громадную яму. Потом один из воинов привязал коня умершего конунга за длинную верёвку и хлыстом стал гонять по кругу, не давая ни минуты передышки. Хлопали по потным бокам лошади инкрустированные золотом стремяна, конь все тяжелее дышал, пена выступала на губах, а воин все гонял и гонял его. Воевода с недоумением и жалостью смотрел на происходящее. Конь уже еле передвигал ногами и хрипел. Воин привязал к морде лошади торбу с овсом, а на глаза — плотную повязку из чёрной материи. К коню, который, хрипло дыша, жевал овёс, подошли десять рослых воинов и столкнули его в яму, а вслед за тем начали забрасывать эту яму землей. Когда яма была уже почти засыпана, земля вдруг взбурлилась и показалась голова с чёрной повязкой на глазах. Один из воинов сильным ударом меча оглушил коня, а остальные быстро закидали эту огромную могилу.

— Воевода, — сурово сказал жрец, отвечая на невольное движение русского, — мы хороним воинов по нашему обычаю. В царстве Перкунаса плохо было бы конунгу без его боевого коня.

Воевода едва приметно пожал плечами. Не пристало оспаривать чужие обычаи.

В это время стремянный Трайанта доложил, что конунг Жемайтии готов принять посла князя Александра.

Оправив кольчугу и меч, идя в замок на свидание с Трайантом, воевода со смешанным чувством горечи и восхищения подумал: «Чудо храбрости, чудо народной обороны сотворила Жмудь. Но сколько может продолжаться эта неравная борьба?..»

Она продолжалась двести лет. После разгрома орденских войск у Шауляя при Миндовге на протяжении почти ста лет Жемайтия успешно отбивала нападения крестоносных разбойников. В 1341 году в битве при пильякалнисе Велюоне рыцари впервые применили огнестрельное оружие. В этой битве пал великий князь литовский Гедимин, и городище это с тех пор называется Гора Гедимина[7]. После его гибели Литва, снова распавшаяся на отдельные княжества, была ослаблена, и к концу XIV века крестоносцы захватили почти всю Жемайтию. Через год вспыхнуло народное восстание, подавленное крестоносцами с беспощадной жестокостью. Но Жемайтия и тут не покорилась. Уцелевшие после расправы скрылись в непроходимых чащах и болотах. Народ накапливал силы, и через несколько лет, к 1409 году, разразилась буря нового восстания, поддержанного великим князем литовским Витовтом. Это восстание не прекращалось до 1410 года, когда в битве при Грюнвальде соединёнными силами литовцев, поляков, русских и чехов был окончательно разгромлен Ливонский орден. Жемайтия навсегда воссоединилась с остальной Литвой. В тяжкой борьбе с

крестоносцами сплотилась единая литовская народность, окрепла древняя дружба со славянами, была завоёвана независимость...

Литовскому народу и в дальнейшем приходилось сражаться за независимость против своих и иноземных угнетателей. История Литвы заполнена восстаниями жемайтийцев против крепостников—помещиков, против извечных врагов — немецких захватчиков, наследников крестоносцев. Когда Гитлер провозгласил новый «крестовый поход» против народов Советского Союза, не только регулярные литовские части, такие, как 56-я Литовская дивизия Советской Армии, но и бесстрашные партизаны Жемайте и Аукштайте сражались против гитлеровцев...

Литовский народ и поныне чтит величественные памятники борьбы с крестоносцами — жемайтийские пильякалнисы, Эти городища окружены множеством легенд. Очень часто, как бы подчёркивая ценность пильякалнисов, эти легенды говорят о сундуках с золотом, спрятанных в глубине холмов. Но мудрые легенды и предохраняют городища от разрушения кладоискателями. Тот, кто осмелится копать пильякалнис, либо погибнет, либо напрасно потратит время, потому что, сколько бы ни накопал он за день, к утру вся земля окажется на прежнем месте. И вот железные двери и подземные ходы, которые якобы ведут к сокровищам, уже столетия не решаются потревожить любители лёгкой наживы.

Уважение народа, которым окружены пильякалнисы, привело к тому, что католическая церковь пытается стать наследником языческой Литвы и принять городища в своё «владение». Ксендзы рекомендовали своей пастве устраивать на городищах кладбища, ставить кресты (на одном только городище Юргайцы их установлено свыше ста пятидесяти), — словом, превратить пильякалнисы в католические святыни. Именитые «князья церкви», такие, например, как епископ Волончевский, приезжали на пильякалнисы и «освящали» их именно с этой целью. Католики утверждали, что пильякалнисы — это костёлы, провалившиеся под землю за грехи прихожан. В противовес этому народная легенда гласит, что пильякалнисы — имения жестоких панов, которые вместе со своими усадьбами провалились под землю за угнетение народа...

Но это лишь «полемическая крайность». А так каждый деревенский мальчишка в Литве знает, что такое жемайтийские пильякалнисы. Гордо возвышаются над лесами и болотами эти памятники мужества, силы и отваги, освящённые веками борьбы за независимость...

Не раз, стоя на их высоких валах, вспоминал я картину вдохновенного певца Жемайтии Чюрлиониса, которая называется «Стрелец».

Двое в мире. Маленький полуобнажённый человек на крутой тёмной скале. Широко размахнув мощные крылья, парит над ним огромная хищная птица, спускается все ниже, готовится напасть на человека. Одним ударом; острого клюва может она раскроить ему голову, одним взмахом крыла сбросить в пропасть. Холодные сиреневые глаза птицы уверенно и безжалостно смотрят на свою жертву. Злобная, необоримая сила стихии. Но человек бесстрашно и твёрдо стоит на скале, выставив вперёд ногу, подняв голову навстречу птице. В руках у него тонкий изогнутый лук. Стрела, дрожа на натянутой тетиве, направлена прямо в сердце птицы. А из-за скалы, окружая человека светлыми лучами, встает невидимое ещё солнце и сияет над ним знак Стрельца. Страшной стихийной силе разрушения и смерти противопоставляет человек, как равный равному, свою смелость, мужество, свой светлый разум...

Между этой картиной и историей Жемайтии есть прямая связь.

Мы имели счастье видеть зримые, вещественные реликвии этой истории. Мы видели материалы из могильников — инкрустированные стремени и мечи, конские захоронения, урны с пеплом убитых в бою воинов. На сторожевых, или «святых», горах измеряли мы толщину

огромных угольных слоев — остатки сигнальных и жертвенных огней. Кстати, угля иногда бывало так много, что, например, и в двадцатом веке кузница, расположенная возле одного из городищ, долгие годы работала на этом угле.

Но больше всего наше внимание привлекли сами городища — пильякалнисы, которые тогда были совершенно не изучены. Это была захватывающая, интересная работа. Она поглощала меня, как и других участников экспедиции, целиком. Мы вместе делали общее, важное и нужное дело. Мы побывали на десятках городищ, шурфовали эти городища, изучали их культурный слой, снимали их планы и разрезы, возможно более тщательно описывали. За это время мы сблизились, спутники стали относиться ко мне с большим доверием, да и самому стало легче в привычных условиях напряжённой экспедиционной работы. Конечно, многое в наших отношениях оставалось неясным, но я не хотел этим заниматься. Прогонял от себя всякие мысли, связанные с положением в самой Жемайтии, в нашей экспедиции, хотя понимал, что рано или поздно мне все равно придётся с этим столкнуться. Но, пока можно было все время и мысли занять работой, я был почти счастлив...

## ЛИТВА МОЯ

Жизнь оторвала меня от пильякалнисов неожиданным и страшным событием. Последние дни мы работали на разных городищах, и одно лучше другого. То это был легендарный Джугас, крутой холм, обязанный своим именем богатырю Джугасу, который, проходя здесь, остановился на минуту и вытряхнул землю из своего клумпаса, отчего и образовался холм. То величественная Шатрия — «Гора ведьм», на которую раз в год собираются все ведьмы Жемайтии, поют, устраивают танцы и игрища, а потом проводят совещание и решают, что плохого и что хорошего сделать каждому жемайтийцу. То мельникаписы — курганы богатырей. На вершинах курганов растут многовековые дубы, стоят три–четыре высоких креста и капличка — маленькая церковка. Зловеще чернеет «Гора повешенных». Если кто–нибудь решится подняться на неё, то из леса протягивается огромная рука и вешает смельчака. А недалеко от местечка Плателе, в центре непроходимого болота, — остров Блинды, Блинды — Мироуравнителя жемайтийского Робин Гуда, и его верного помощника Стукаса, раздававших бедным награбленное у богачей имущество. Символом Блинды и его соратников была рута.

Не раз встречал я в лесах Жемайтии этот зелёный, никогда не вянувший цветок. Мы находили его в дубовых лесах, в зарослях дикой малины, брусники, смородины, на берегах глубоких озёр, пахнущих горьким запахом дубовых листьев. Твёрдые, похожие на маленькие лодочки лепестки руты плыли по чёрной, почти совершенно прозрачной воде.

Не случайно стала рута с незапамятных времён любимым цветком Жемайтии, олицетворением её стойкости, скромности, жизненной силы...

Да, все здесь было полно романтики, овеяно легендой — каждый холм, каждая горка.

...Рабочий день кончился. Наступил ранний светлый вечер, и вместе с ним начались неожиданности. Вот из–за чёрных, обомшелых стволов послышался плеск воды. Мы вышли на небольшую поляну и увидели старую водяную мельницу. Лопасты её колеса лениво шлёпали по воде. Из покосившейся дубовой избы вышел традиционный мельник с бородой, припорошенной мукой и сединой, в длинной домотканой рубахе. Но что это? На ветке дуба сидело что–то яркое, поражающее щедростью красок, вспыхивающих и играющих в лучах заходящего солнца. Большая птица распустила веером длинный зелёный с синими глазками хвост, трянула, султаном. Да, точно — здесь среди суровых дубрав возле старой водяной мельницы сидел павлин. Мельник — добродушный, словоохотливый старик, накормив нас

традиционной коше жемайче, объяснил, что раньше богатые помещики держали в своих усадьбах павлинов. Потом помещики разбежались, а павлины остались беспризорными. Никто из крестьян не хотел взять этих бесполезных в хозяйстве птиц. А ему жалко стало — не пропадать же такой красоте, — вот он и взял двух.

Мельник, так гостеприимно встретивший и накормивший нас, вдруг помрачнел и сказал:

— Не обижайтесь, гости дорогие. На ночь я вас приютить не могу.

— В чем дело? — Коротко спросил Варнас.

Мельник в ответ пожал плечами:

— Да так-то и ни в чем, — протянул он, — однако и не совсем бы и следовало. А то и мне и вам может быть и не так уж ладно. Вы вот на машине. Вам что до села или большого хутора доехать. А то бывает — шалят здесь.

— Когда? — Резко прервал его Варнас.

— Да вчера будто бы и наведывались, — помявшись, сказал мельник.

— В машину! — Распорядился Варнас.

Видимо, здесь действовали укрывшиеся в лесах фашистские банды. Через несколько минут мы уже выскочили на полевую дорогу, а ещё через полчаса, так как начало темнеть, решили остановиться на небольшом повстречавшемся нам хуторе. На берегу тихой речки стояла одинокая бревенчатая изба с соломенной крышей, образующей со всех четырёх сторон навес, подпёртый столбами. За покосившимся плетнем на высоком столбе виднелась капличка с восемью оконцами, по два с каждой стороны. В капличке стояла деревянная скульптура святого Изидора — приземистый мужик в круглой деревенской шапке, набрав горсть зерна из висящего на груди лукошка, широким взмахом руки засекает борозду; впереди широкоплечий ангел, идущий за плугом, запряжённым парой ленивых волов.

На крыше в гнезде из старого тележного колеса важно дремал белый аист. На наш стук никто не отозвался. Однако через некоторое время заплескалась вода и к берегу возле избы причалила лодочка — корытце, выдолбленное из распиленного вдоль бревна. На борту лодочки красовалось название, написанное огромными буквами, — «Лайме» («Счастье»). Из лодки вышла молодая светловолосая женщина с чёрными кругами под глазами.

Безучастно пройдя мимо нас, не ответив на приветствие, она вошла в дом, оставив дверь открытой. Пришлось удовольствоваться этим необычным для гостеприимных жемайтийцев приглашением. Мы вошли вслед за женщиной и уселись вокруг стола. Женщина уже возилась у печки, приготавливая огромную яичницу с салом. На столе стояла крынка с молоком, лежал большой каравай хлеба. Женщина молчала, и нам неловко было прерывать её молчание.

Я осмотрелся. Небогатая изба была тщательно отделана. Ещё во дворе я заметил на крыше двух резных коньков, а между ними четырёхрукую человеческую фигуру, у которой верхние руки подняты, а нижние опущены. Много резных деревянных вещей было в избе. У табуреток ножки сделаны в виде мужских фигур с круглыми головами и широкими улыбающимися губами. Деревянный ковшик, миски, черпаки, дощечка к самопрялке, на которой кудрявилась кудель, — все это было покрыто тончайшей резьбой. Зубчатые линии образовывали разнообразный орнамент — розетки, ритмически расположенные квадраты, круги, ромбы, звёздочки. Пламя из печки, падающее на них, вызывало мерцающую игру светотеней. На столе, возле поливного кувшина с белыми звёздочками-снежинками на синем фоне, лежали резные щипцы для орехов и хорошо обкуренная трубка с изображением оленьей головы на чубуке. Висели красиво расшитые ромбами и треугольниками полотенца. Вышивка при всем

богатстве колорита была не пёстрой, а благородно сдержанной. Видно, в этом небогатом доме жили умелые, понимающие толк в красоте люди. Продолжая осматриваться, я обратил внимание на солдатскую шинель с невыцветшими прямоугольниками на плечах и очень удивился. Я уже знал немного обычаи жемайтийцев, которые никогда не ходят вечером. Совсем стемнело, а между тем хозяина все ещё не было дома.

— Товарищ Варнас, — попросил я, — узнайте у хозяйки, где её муж.

В ответ на вопрос Варнаса женщина, помедлив, присела к столу, сжала руками виски и тихо заговорила. В комнате было совсем темно. Только когда вспыхивали дрова в печке, видны были сухие глаза женщины, излучавшие какой-то странный серый свет, и её белые зубы. Она говорила довольно долго и, наконец, кончив, уронила голову на руки, спрятала в них лицо и застыла. Мои спутники молчали, и я, привыкший за годы дружбы с Варнасом ко всем оттенкам его молчания, понял: произошло что-то трагическое.

— В чем дело, товарищ Варнас? — Спросил я. — Где муж этой женщины?

Варнас помрачнел и ответил:

— У неё нет мужа.

— Это и все, что она вам рассказала в течение получаса? — процедил я, с трудом сдерживая ярость.

— Нет. Не все, — вмешался в разговор Басанавичус. — Вы хотите знать все? Ну что же... Эта женщина всю войну ждала своего жениха. Полгода назад он вернулся. Они поженились. С трудом наладили хозяйство. Были счастливы. Вместе трудились. Она ждет ребёнка. Два дня назад к хутору подъехала легковая машина. В ней был майор и три сержанта. После того как они поели, майор спросил, сдал ли хозяин поставки государству. Хозяин ответил, что сдал по молоку и мясу и скоро, как только уберет рожь, сдаст и по хлебу. Майор попросил показать квитанции. Хозяин показал, сказал, что он человек дисциплинированный, одним из первых в районе сдал. Майор посмотрел квитанции, похвалил: «Молодец!» А потом, внезапно изменившись в лице, с бешеной злобой прокричал: «Ах ты, сволочь! Советам хлеб даешь! Повесить его!» «Сержанты» с привычной сноровкой повесили хозяина на двери его же собственного дома и уехали. Прибывшие скоро работники милиции установили, что это были переодетые бандиты из фашистской шайки, терроризировавшей весь район...

И опять ночью я проклинал судьбу, забросившую меня в эту экспедицию. Мне, как и многим людям моего поколения, не раз доводилось видеть смерть в лицо. Но история с мужем этой женщины, которого я даже и не видел никогда, произвела на меня особенно страшное впечатление. Перед моими глазами все время стояла дверь дома, любовно расписанная разноцветными ромбами, и я представил себе лицо мужа этой женщины, висящего на двери. Она ждала его всю войну. Наверное, она его очень любила. Она сделала свой выбор не колеблясь, так же как девушка из сказки Шапшала. А теперь он убит...

Это совершенно неподходящая обстановка для работы экспедиции. Наверное, правильнее бросить сейчас все и уехать. А потом, когда все успокоится в этих местах, можно будет возобновить раскопки и поиски. А так просто невозможно работать. Даже на таких замечательных памятниках, как жемайтийские пильякалнисы...

Что делать?.. Но я ничего не решил и утром встал раздражённым и измученным. Завтрак, аккуратно приготовленный и поданный хозяйкой, ни мне, ни другим не лез в горло. Трудно было смотреть ей в глаза. Хотелось скорее уехать. Ведь все равно ни я, ни кто другой не могли ничем помочь.

Я встал, чтобы готовиться к отъезду, и вдруг заметил, что не все сотрудники экспедиции на



месте.

— Где Варнас и Моравскис? — Спросил я у Басанавичуса.

Альфред замялся и пробормотал:

— Они скоро вернутся.

Не знаю, может быть, сказалось то нервное напряжение, в котором я находился уже много дней, и эта ужасная история на хуторе, но я вспылил и стал кричать, что мне надоели все эти тайны, что я начальник экспедиции и требую, чтобы со мной считались и ничего не предпринимали без моего разрешения.

Это было очень глупо, вся эта выходка, но я ничего не мог с собой поделать. Мои спутники молчали. Вне себя я выскочил из избы и пошёл куда глаза глядят. Немного успокоившись, я увидел, что отошёл довольно далеко от дома и нахожусь в ржаном поле. И тут я увидел Варнаса и Моравскиса. Обнажённые до пояса, они размашисто шагали почти рядом, и лучи утреннего солнца вспыхивали на блестящих клинках их кос, и ровными рядами ложилась у ног скошенная рожь.

Я долго смотрел на них, и даже сознание собственной глупости не могло побороть во мне радостного чувства гордости за моих товарищей. А ещё очень обидно было, что я сам не умею косить.

Вскоре после нашего выезда пошёл сильный крупный дождь, и в поисках укрытия мы заехали в имение графа Огинского, одного из богатых и знатных магнатов Речи Посполитой.

Дворец был разрушен во время минувшей войны. От него сохранилась только двухэтажная коробка с колоннами да несколько скульптур с отбитыми головами на крыше. Мы укрылись под огромным развесистым клёном, который склонился над рябым от дождя озером.

Моравскис, улыбаясь, сказал:

— В начале восемнадцатого века здесь произошло настоящее сражение. Один промотавшийся и наглый немецкий герцог, сообразив, что Огинские владеют неисчислимыми землями и другими богатствами, вскружил голову дочке и наследнице старого графа, вынужденного дать согласие на брак. Но литовский канцлер Сапега, не желавший онемечивания половины Литвы, запретил брак. Тогда герцог, чтобы утвердить свои владельческие и супружеские права, вызвал в имение войска. Сапега в ответ обратился за помощью к своему другу и союзнику Петру Первому. Русские гвардейцы, посланные Петром, в два счета вышибли из Литвы и герцога, и его наёмных головорезов.

Я посмотрел на круглое, добродушное лицо Моравскиса, на его близорукие голубые глаза и вдруг отчётливо понял, что он, да и не только он, в экспедиции уже давно для меня не чужие люди, что этот деликатный, не слишком разговорчивый, как почти все литовцы, человек никогда не имел ни одной дурной мысли. Просто мы не все знаем друг о друге, не все понимаем...

Дождь кончился.

Мы решили немного побродить по запущенному, но великолепному парку. Многовековые кряжистые дубы, высокие мачтовые сосны, тонкие лиственницы с нежными, почти пушистыми ветвями чередовались с клумбами и кустарником. В прямых аллеях царил зеленоватый полусвет, и лишь изредка на песке лежали пятна солнечных лучей, прорвавшихся сквозь густую листву. Деревья составляли зелёные беседки, шатры, амфитеатры.

Здесь познали искусство создавать из кустов и деревьев любые причудливые композиции. По

этим аллеям когда-то бродил Чюрлионис, служивший музыкантом в домашнем оркестре Огинских.

Я отчётливо представил себе очередной бал во дворце в честь какого-нибудь титулованного ничтожества, вроде того немецкого герцога. Под звуки бесконечных вальсов и мазурок кружатся в танце раскрасневшиеся, нарядные люди, беспечно и кокетливо болтают женщины, военные, сверкая эполетами, со значительным и самодовольным видом несут светскую чепуху. Высоко, под самым потолком, на душной и полутёмной галерее всю ночь напролёт играет оркестр.

А утром, после того как утомонились, наконец, лихие танцоры, по пустынным аллеям парка бредёт Чюрлионис — художник и композитор, гордость своего народа, наёмный музыкант, нищий и бесправный Чюрлионис. Он в чёрном сюртуке, с галстуком-бантом и высоким крахмальным воротником. Тёмные, добрые, измученные глаза оттеняют бледность лица, утомлённого бессонной и бессмысленной ночью. Он бредёт, иногда спотыкаясь, почти ничего не видя вокруг, назойливо звучат в ушах пошлые, затасканные танцевальные мотивы... Но постепенно их звуки вытесняются другими, все более властно проникающими в душу. Странно, вольно и тревожно зашумели листья на старых дубах, из-за реки донеслись звуки канцлеса[8] и пастушеского рога, задумчиво и грустно льётся дайна — крестьянская песня, звенят птичьи голоса в просыпающемся лесу... И вот появились симфонические поэмы Чюрлиониса, первые литовские симфонические поэмы — «Море» и «В лесу», чудесные обработки народных песен. Их узнали и полюбили многие люди. Но композитор не смог порадоваться этому. Нищенское, унижительное существование, постоянное перенапряжение в работе привели к страшной болезни — умопомешательству.

Микалояус Константино Чюрлионис скончался в 1911 году в возрасте тридцати шести лет.

Ныне в Советской Литве в Каунасе в Государственном музее имени Чюрлиониса собраны и тщательно сохраняются картины этого замечательного художника, лучшие музыканты Литвы исполняют его произведения.

Соратник и биограф художника профессор Галауне подарил мне монографию о Чюрлионисе, в которой помещены репродукции всех его картин. На титульном листе этой монографии мой друг литовский композитор Балис Дварионас написал несколько первых музыкальных фраз из симфонии Чюрлиониса «В лесу».

Уехав из поместья Огинских, мы остановились в глухом лесу для раскопок средневекового могильника. Мы раскопали могилы воинов. Возле скелетов лежали тяжёлые железные наконечники копий, большие ножи, медные поясные пряжки и массивные перстни. Работе часто мешал дождь, ботинки и брюки до колен были вымазаны жидкой глиной и часто насквозь мокрые. Зато раскопки оказались удачными. Когда они уже подходили к концу, Варнас ушёл в разведку. Он вернулся часа через три и пригласил Крижаускаса и Моравскиса пойти с ним на какой-то хутор.

— Там можно получить интересные этнографические предметы, — пояснил он.

— Я тоже пойду, — сказал я.

Варнас, помолчав немного, ответил:

— Не обижайтесь, но идти вам не стоит.

— Нет, пойду! — Упрямо повторил я, заинтересованный и в то же время рассерженный какими-то, казалось, рецидивами прежних отношений.

Только тут я заметил, что Варнас, сощурившись, смотрит куда-то вверх голов, что всегда

служило у него признаком сильного волнения. Но это не остановило, а ещё больше раззадорило меня.

Вчетвером мы отправились в путь и вскоре дошли до очень живописного хутора. Ветви яблонь склонялись и усадьбе под тяжестью жёлтых матовых яблок, в ноле стояли скирды ржи. Во дворе лежала разная утварь: плетёные верши, корзины, берестяные туески. На кольях плетня висели перевёрнутые вверх дном поливные кувшины с изображением розеток и крестов. Возле длинного низкого амбара с расписанной многоугольниками дверью висела растянутая на огромной рогатине высохшая шкура барана, стояли деревянные лопаты с железной оковкой штыков, большие ушаты с носиками, как у чайников, старая телега — кардес. Мы вошли в бревенчатый дом с высокой соломенной крышей. Вдоль стен виднелись расписанные цветами и птицами лари. На столе стояли тарелки с кашей, резная солонка, кувшин. На стенках на специальных вешалках в виде резных порталчиков и теремков висели вышитые полотенца. Мои товарищи сняли с прялки челнок, на концах которого были вырезаны ужиные головки, и положили его на лавку. Вскоре рядом с челноком оказались ковши, забавный резной предмет, на одном конце которого была ложка, а на другом — вилка, прорезная ажурная дощечка и другие интересные вещи. Варнас защёлкал фотоаппаратом. Басанавичус готовился все это зарисовать.

Несколько минут понаблюдав за ними, я с удивлением и возмущением воскликнул:

— Да вы что, друзья, с ума сошли? Как же можно входить в дом и трогать все без спроса? Что же будет, когда хозяева вернутся?

— Они не скоро вернутся, если вернутся вообще, — тихо сказал Басанавичус.

— Почему?

Но Басанавичус молчал, опустив голову. Тогда за него ответил Варнас, медленно, с усилием подбирая слова:

— — Эта семья выслана по обвинению в сотрудничестве с бандитами.

— Тогда что же вы так помрачнели? — с невольным вызовом сказал я. — Может быть, они сотрудничали как раз с убийцами мужа той женщины с хутора.

Варнас побледнел и так же медленно проговорил: — Нет. Не сотрудничали. Я хорошо знал эту семью. Это честные, добрые люди. Глава семьи — старый школьный учитель. Я сам учился у него в школе. Их выслали по ложному доносу. Все вокруг знают это. Смотрите — сколько времени прошло, а дом и все, что в нем есть, стоят нетронутыми.

Я подошёл к столу и увидел, что он покрыт толстым слоем пыли, а каша в деревянных тарелках зацвела и затянулась черно-зелёной, нефтяного цвета плёнкой.

Как и мои товарищи, я опустил голову и машинальным движением снял свою соломенную шляпу.

На обратном пути мы шли молча.

Стемнело. Только луна бросала свой неверный свет на наш лагерь. Мы остались вдвоём с Варнасом. Он сидел на каком-то чурбаке. Я видел только его силуэт. Внезапно он заговорил:

— Этот учитель честный человек. Он ни в чем не виноват. Что же происходит, Юргис? Может быть, ты думаешь, что это неизбежно. Лес рубят — щепки летят. Есть такая поговорка.

Не знаю, наверное, я ответил ему так же медленно и с таким же усилием, как говорил обычно он сам:

— Нет, Володя. По отношению к судьбе даже одного единственного человека эта поговорка — преступление. Правда все равно придёт к твоему учителю. Неужели ты не понимаешь?

— Если бы я не понимал, — спокойно ответил Варнас, — я был бы не здесь с тобой, а там. — И он показал рукой в сторону болотистых чащ. — Но рута принадлежит не им, а нам. Пойдем.

Мы вышли.

На берегу большого озера, положив друг другу руки на плечи, полукругом стояли мои товарищи и негромко пели.

Когда мы подошли, полукруг разомкнулся, освобождая для нас место. Мы с Владасом встали и тоже положили руки на плечи товарищей. Полукруг снова сомкнулся, и снова полилась песня. Задумчивая, величавая, грустная, светлая:

Летува мано, бранги тевине...

По-русски ее первый куплет звучит так:

Литва моя, моя любимая родина!

В твоей земле спят богатыри.

Ты прекрасна своим синим небом.

Прекрасна потому, что много

Перенесла невзгод,

И поэтому я особенно

Сильно люблю тебя...

ЭТО МЫ

Утром Моравскис предложил:

— Юргис, посмотрим место, где жил Дионизас Пошка? Это недалеко отсюда, в Таурегском уезде.

Я охотно согласился. Я знал, что Пошка — первый литовский археолог и этнограф, крупный поэт и просветитель — значительную часть своей долгой жизни провел в каком-то романтическом месте в глуши Жемайтии. Мы долго пробирались лесными дорогами до чистенькой усадьбы школьно-музейного вида. В центре её на каменном постаменте стоял огромный дуб, срезанный и накрытый сверху многоугольной крышей-грибом. Пошка нашёл

этот дуб с пустой сердцевиной, сделал в нем двухстворчатое окно, навесил дверь и поселился в этом своеобразном жилище. На двери дуба — стихи, сочинённые и собственноручно написанные Пошка. В русском переводе они звучат так:

Дуб мой любимый, дуб мой милый,

Мне твои стены милее, чем дворцовые.

Ты в дымке мечты — одна радость.

Я весел только тогда,

Когда бываю под твоей крышей.

Возле дуба стоял большой старинный жёрнов, росли молодые деревца. Романтически–сентиментальное жилище было вместе с тем и музеем и лабораторией ученого.

— Пошка очень любили люди, — сказал Крижаускас, — и он им много помогал. Лечил, как умел, писал за них прошения разным властям, учил. Поэтому ему охотно приносили изделия лучших деревенских мастеров.

Мы зашли внутрь дуба. Действительно, там был настоящий этнографический музей: скалились «страшные» святочные маски — горбоносые или монголоидные лица, висели и лежали старинные сабли, деревянные цепи, дрели, скалки, коромысла, светильники, клумпасы, сплошь покрытые строгой и вместе с тем нарядной резьбой.

В память Пошка возле дуба насыпан огромный курган, на вершине которого поставлен монумент. Пошка умер в 1830 году, и с тех пор этот дуб почитается как одна из народных святынь, а коллекции его постоянно пополняются добровольными приношениями. Здесь же во дворе сооружён курган в честь пятисотлетия со дня смерти князя Витовта.

Потом мы спустились с Жемайтийской возвышенности в приморскую низменность. Мы находились ещё километрах в пятнадцати от моря. Вокруг простирались густые дубовые леса, замшелые болота. Ничто, казалось, не говорило о близости моря. Но оно уже угадывалось в той глубокой, играющей, живой синеве неба, которая, может быть, создаётся отражением огромного водного зеркала, да в свежем, солоноватом ветре, порывы которого вдруг налетали неизвестно откуда.

Здесь в Кретингском уезде мы решили произвести небольшие раскопки на курганной группе Курмайчай. Самый большой курган в этой группе был уже раскопан. По преданию, раскопал его совсем не археолог, а один нищий, решивший, что в кургане спрятано золото. Два дня в неделю он просил милостыню, а остальные пять дней копал курган. Так продолжалось ежедневно почти в течение двух лет. Нищий безрезультатно прокопал всю насыпь, потом ещё на четыре метра в глубь земли и, ничего не найдя, сошёл с ума. Мы копали с большим успехом. Наш курган имел к основанию венец, выложенный из крупных камней, а в центре — грубый лепной горшок, в котором находились остатки пережжённых кальцинированных человеческих костей. Там был и бронзовый браслет. Судя по всему, курган относился к рубежу бронзового и железного веков.

Мы жили на тихом маленьком хуторе, хозяйка которого уехала погостить к сестре, а хозяин, видимо, очень скучал и обрадовался нежданым гостям. И вдруг заболел Нагявичус. Я уже давно успел полюбить этого порывистого, то угрюмого, то весёлого, но всегда искреннего

парня, отличного шофёра. О недоразумении, которое произошло у нас в первый день работы, мы не вспоминали. Как-то я увидел, что Нагявичус читает на отдыхе толстую книгу, под названием «Психология». Немного удивлённый, я спросил его, почему он этим интересуется.

— Дорога одинаковая, стекло всегда перед глазами, а вокруг все меняется, — весьма наивно объяснил Нагявичус. — Вот и начинаешь думать: что к чему и отчего.

Болезнь Стась так, как болеют очень крепкие люди: крайне неумело, бурно, неорганизованно. Он сильно простудился во время дождя, но продолжал сидеть за рулем и принимать самое деятельное участие во всех делах экспедиции. Вот и добился, что температура подскочила до сорока. Он лежал на сеновале. Губы пересохли и покрылись белой плёнкой, а тело тряс озноб. Он то по-детски стонал, то яростно скрежетал зубами, прикрывая свои голубые глаза. Лицо его ещё больше заострилось, и сходство с Мефистофелем увеличилось. Больной гриппом Мефистофель! Это зрелище противоестественное и очень печальное. Я накрыл его своим одеялом и пичкал разными лекарствами. Раскопки кончились, и мы ждали выздоровления Нагявичуса.

— Юргис, — сказал мне как-то Моравскис, — мы пойдем за богами, а ты побудешь с Нагявичусом. Хорошо?

— За какими ещё богами? — спросил я, увидев за плечами Варнаса знакомый пустой рюкзак.

Тут разъяснилась последняя «тайна» экспедиции. На кладбищах, на перекрёстках дорог, в усадьбах многих жемайтийцев стоят на высоких столбах каплички, то простые, как скворечники, то вычурные, как драгоценные ларцы. Внутри находятся деревянные резные изображения различных католических святых. Их изготавливают деревенские резчики на свой лад, по своему образу и подобию. Мотивы скульптур религиозные, а исполнение чисто народное — и по образам, и по тонкому чувству юмора, и нет наивной яркости и выразительности. Для истории народного искусства изучение этих репных деревянных скульптур представляет большой интерес. В бурные военные и послевоенные годы многие каплички со скульптурами, иногда столетней давности, погибли. Процесс гибели их, к несчастью, продолжался и тогда, когда работала наша экспедиция. Необходимо было собрать и сохранить для науки эти замечательные образцы народного искусства. Но это было не так просто.

Боги, боженьки, девуляй, как называют их жемайтийцы, не продаются. В подарок тоже неуместно преподнести «бога». У моих товарищей оставался единственный выход — красть «богов». Так как неизвестно было, как я к этому не слишком легальному занятию отнесусь, то мои товарищи и не решались рассказать мне раньше обо всем. Варнас открыл большой ящик, стоявший в кузове машины, и я увидел, что там собран уже целый Олимп деревенских «богов». Вот святой Винцент с круглым лицом, стриженный «под горшок», держит за хвост пузатого черта; вот Иисус Христос — приземистый бородатый литовский крестьянин — присел отдохнуть на камень после долгого трудового дня, подперев рукой голову; вот божья мать — широколицая литовская крестьянка — мать и хозяйка большой семьи, с толстыми ногами в шерстяных чулках и с натруженными руками; вот добрый молодец святой Георгий сует вилы в пасть лежащего под копытами его лошади дракона, а рядом — для наглядности — стоит девушка в национальном литовском венке — святая Елена, спасённая героем; вот жалкий и смешной жемайтийский черт с длинной и узкой бородой, большими грустными глазами, наполовину выбитыми зубами, горбатым носом и в трусиках, чтобы не оскорблять целомудренных взглядов.

Уже по возвращении в Вильнюс, когда собранная во время экспедиции коллекция заняла своё место в музее Литовской академии, я получил в подарок своего патрона — святого Юргиса — Георгия, один из замечательных образцов народной скульптуры.

Какая огромная разница между этими талантливыми, смешными и трогательными жемайтскими скульптурами и официальной католической символикой! В Вильнюсе я видел одну из главных католических святынь Прибалтики — Остра Брамун. В нише, под островерхой башней с воротами, висит великолепная икона богородицы. Икона XII века и, судя по стилю, написана кем-то из новгородских мастеров. Неизвестно, как она попала сюда. Тонкое печальное лицо с опущенными глазами, с прямым византийским носом и крыльями высоких бровей. Икона заключена в огромный пышный серебряный оклад. Голова склонилась под тяжестью двух царских венцов оклада. Острые лучи сияния за головой, как винтовочные штыки, торчат во все стороны и кажутся ненужными и зловещими. Руки богородицы, сложенные накрест на груди, словно кандалами, скопаны и кистях обводами оклада. Как не подходит это тяжёлое, торжественное и грозное обрамление ко всему облику богородицы! На стенах возле иконы — тысячи маленьких серебряных ручек, ножек, сердец... Люди, исцелённые якобы при помощи иконы, покупают изображения того, что она «исцелила», и вешают в благодарность на стене. Но вся эта нелепая и безвкусная выставка — смесь невежества, суеверия и грязной коммерции — не может испортить впечатления от печального, кроткого и прекрасного лица — шедевра неведомого художника.

На пыльной и грязной мостовой перед Остра Брамун целый день стояли на коленях старики и старухи, гимназистки, солидные люди с портфелями... Чего они ждали среди этой грязи и пыли, зачем нужно было это унижение им самим и святой Марии?

Тут же шла бойкая торговля серебряными сердцами, иконами, чётками, евангелиями, причём цены за все это святые отцы заламывали отнюдь не божеские...

Нагявичус поправился на третий день без всякого вмешательства небесных сил. Обречённые на безделье до возвращения товарищей, мы охотно приняли приглашение Пранаса — нашего добродушного и медлительного хозяина — половить раков и отправились к ближайшей речке с удочками и сачками. На конец удилица привязывается дохлая лягушка. Потом удилице опускают в прозрачную воду и осторожно подводят к раку. Лягушку то пододвигают к раку, то немного отодвигают, слегка покачивая. Когда возалкавший рак вцепляется изо всех сил в лягушку, удилице поднимают, подводят под рака сачок и быстро выбрасывают его на берег. Пранас ловил раков сам, а мы с Нагявичусом организовали коллективное хозяйство: он орудовал сачком, а я — удилицей. Раки явно предпочитали социалистический сектор индивидуальному. Мы наловили больше сотни раков, а Пранас — только восемь.

— Вот видишь, Пране? — Сказал хозяину Нагявичус. — Даже раки показывают, что колхоз выгоднее. Давай вступай, пока не поздно.

Как ни странно, поведение раков произвело на Пранаса сильное впечатление. Он долго ещё стоял на берегу реки и задумчиво смотрел на воду. Коллективизация только-только начиналась в Жемайтии, и, видно, Пранас всерьёз обдумывал вопрос о том, как ему к этому относиться. Это был типичный жемайтиец — светловолосый, кряжистый, молчаливый и очень осторожный. Из поколения в поколение, как и многие жемайтийцы, род Пранаса соблюдал традиции. Некоторые из них имели многовековую давность. Вот, например, Литва приняла христианство в 1387 году, а Пранас, как и его многочисленные предки, согласно ещё языческим обычаям, почитал змей. Каждый день выставлял он для змей под кривым дубом большую тарелку с молоком. Змеи пили молоко и никогда не жалили Пранаса.

Он почти ничего не говорил в утвердительном смысле. Я как-то спросил:

— Пранас! У тебя лошадь хорошая?

Поразмыслив, Пранас ответил:

— Понимаешь, Юргис! Нельзя сказать, чтобы лошадь была так уж плоха.

Зная характер жемайтийцев, я понял, что лошадь очень хорошая. Когда хозяйка вернулась на этой лошади от сестры, оказалось, что я не ошибся.

В Литве семьдесят один город. В этих городах живет всего 23 процента населения, и то главным образом в Аукштайтии. Горожане из Аукштайтии посмеиваются над медлительностью, осторожностью и разными чудачествами жемайтийцев, но любят их и гордятся ими за их честность, упорство, талантливость во всех видах народного искусства.

...Рано утром мы выехали из Курмайчай к очередному пильякалнису, затерянному в глуши лесов и болот. Это был последний день работы экспедиции. У меня сильно разболелась голова. Оказалось, что я тоже простудился и у меня высокая температура. Мы решили, что я останусь в машине, на лесной дороге, пока остальные пойдут по болоту до городища и обследуют его.

Все ушли. Дождь кончился. Пригрело солнце, и я задремал. Очнулся ото сна потому, что кто-то тряс меня за плечо и спрашивал:

— Кур важойем? (Куда едем?)

Не открывая глаз, я пробормотал:

— Ин Кретинга.

Последовал новый вопрос:

— Кодел? (Зачем?)

Я открыл глаза и ужаснулся. Передо мной стояли пятеро хорошо вооружённых мужчин в штатском. У них были мрачные лица. У одного виднелся свежий розовый шрам на виске. У двух других перекрещивались на груди пулемётные ленты.

«Бандиты! — пронеслось у меня в голове. — Вот это номер! Последний день работы... Вокруг такой чудесный лес... Солнышко светит... Птички поют... Вот уж совершенно излишняя встреча!»

Между тем один из пятерых со спутанной русой бородой, видимо старший, потребовал:

— Документы!

Пришлось дать. Он посмотрел и удивился:

— Вы русский?

— Да, — ответил я.

— Что вы здесь делаете?

— Занимаюсь археологией.

— Что такое археология?

Пришлось мне в этой удивительно неподходящей ситуации прочесть краткую популярную лекцию по археологии. Неблагодарные слушатели нетерпеливо переминались с ноги на ногу.

— Вот что! — Сурово сказал бородатый. — Здесь не место заниматься вашей археологией.

— Почему? — Спросил я, обрадованный, что можно хотя бы поспорить.



— А потому, — так же сурово ответил бородатый. — Здесь война идёт настоящая. Вот сегодня бандиты убили двух местных активистов.

У меня отлегло от сердца. Сами бандиты обычно называют себя по-другому.

— А вы что здесь делаете? — Повеселев, спросил я.

— Мы истребители. Прибыли, чтобы поймать и уничтожить этих бандитов.

— Ну и как? Удачно?

— Да, — важно ответил бородатый. — Мы их засекли и обстреляли. Они залегли. Но их там много. Вот подойдет подкрепление — мы их уничтожим.

— А где же вы их засекли? — С понятным интересом спросил я.

— Вон на той горе! — И бородатый указал рукой на видневшуюся вдали вершину пильякалниса.

— Да вы что, — закричал я вне себя, — какие же там бандиты! Там мои товарищи по экспедиции!

— Это точно? — Смутьившись, спросил бородатый.

— Конечно, точно! Черт бы вас всех побрал! — ответил я, задыхаясь от волнения.

— Ну, извините, — мрачно отозвался бородатый. — А вы с вашей экспедицией все-таки уезжайте отсюда, да поскорее.

Истребители ушли. Через некоторое время я увидел, как к дороге по кочкам бегут мои товарищи. Я лихорадочно пересчитал их — все налицо. Слава богу! Впереди бежал, размахивая руками, Варнас и кричал мне:

— Юргис! Я сорок минут лежал в большая яма!

Мои сдержанные литовские друзья были, кажется, смущены той горячностью, с которой я обнял каждого из них. Оказалось, что едва они успели обмерить городище, как снизу загремели автоматные очереди и пули засвистели среди листьев. Вот и попрятались кто куда.

Рассказав друг другу о наших впечатлениях, посмеявшись и порадовавшись благополучному исходу, мы поехали к морю.

Мы вырвались из узких и душных лесных просёлков на широкое бетонированное шоссе. Вдоль шоссе стояли полуразбитые во время войны каменные дома с островерхими черепичными крышами, готические кирпичные костёлы с грубо размалёванными толстыми фигурами святых.

Пообедать мы остановились в местечке Шилуте, в только что организованном совхозе — бывшем имении господина доктора Шеу, генерала и шафтдиректора. В помпезном особняке повсюду висели портреты генерала — тупое, надменное лицо с нафабранными усами. Правда, картины продырявлены во многих местах, а бюсты — с отбитыми носами. Генерал — типичный пруссак. Его мрачная библиотека полна жизнеописаниями различных кайзеров и немецкой шовинистической литературы. Есть и специальные издания, восхваляющие богатство имения и добродетели генерала. С потолков между аляповатой позолоченной лепниной свешивались толстые амуры с открытыми ртами. Повсюду масса оленьих рогов и фотографий оленей, удостоившихся быть подстреленными собственноручно генералом. Но

наряду с этой чепухой есть и большой гербарий, много местных и привозных археологических и этнографических предметов, которые собирал генерал. Впрочем, и среди них встречается разная ерунда, вроде псевдополинезийских пальмовых вееров, набедренных повязок из кожаных шнурков, разноцветного бисера и мелких ракушек. Но есть и подлинные египетские статуэтки — сфинксы, птицы, скарабеи... Странное сочетание тупого пруссачества и интереса к истории и этнографии. Впрочем, интерес этот базировался больше на обилии денег, чем знаний. Внук генерала — последний владелец имения — исчез после разгрома гитлеровцев и освобождения Прибалтики.

А вот совхоз здесь организовали отличный.

...После обеда мы быстро пронеслись через фешенебельный приморский курорт Паланагос, только на полчаса остановившись посмотреть грот, в котором, по преданию, находился главный алтарь Перкунаса. Когда-то неугасимый огонь перед алтарем поддерживали облачённые в белые одежды вайделотки — красивейшие девушки Литвы, давшие обет девственности и служения божеству. Одна из них, по имени Бируте, полюбив доблестного полководца, борца против крестоносцев князя Кейстута, нарушила все обеты ради этой любви, бежала с Кейстутом и вышла за него замуж. От этого брака и родился князь Витовт.

...Мы въехали в Клайпеду ещё днем. Город был разрушен фашистами. Развалины домов поросли сорной травой и иван-чаем. Великолепный Клайпедский порт, в котором довелось побывать мне ещё до войны, разбит до основания. И все-таки мы решили совершить одно небольшое морское путешествие. Метрах в двухстах от берега проходит по морю длинная песчаная коса, отделяющая залив Куршу-маре от Балтики. На этой косе, как сказал Варнас, встречаются древние янтарные изделия, многие из них относятся ещё к концу каменного века.

Не без труда раздобыли мы ржавую железную шаланду, настелили наверх толстые доски. Но оказалось, что шаланду невозможно подвести к берегу, а все причалы разбиты. Тогда мы с помощью каких-то довольно подозрительных полупьяных личностей, предложивших свои услуги, стали сами строить из досок временный причал. Опыта у нас в строительстве такого рода не было, но работа продвигалась быстро.

Только здесь, в Клайпедде, я обратил внимание на то, как мы все здорово изменились за время экспедиции. Рубашки и брюки от бесконечных скитаний по лесным тропинкам и болотам порвались и выцвели, сохранившиеся у Варнаса и Нагявичуса кожаные ботинки были в плачевном состоянии, а деревянные клумпасы остальных, такие удобные и естественные в лесах Жемайтии, имели довольно нелепый вид на бетонированной набережной. Зато мы все загорели и окрепли. Впрочем, изменения были далеко не только внешними.

...Когда кончилось строительство причала, стало уже смеркаться. Мы подвели шаланду к причалу, и тут оказалось, что мы допустили при строительстве ошибку. Борт шаланды не подходил к концу причала ближе, чем метра на полтора. Но отступить не хотелось. Мы настелили между причалом и бортом шаланды две толстые доски — одну для правых, а другую для левых колес машины. Помогавшие нам личности взялись за концы, привязанные к носу и корме шаланды, чтобы удержать ее на месте. Мы с боков поддерживали обе доски. Нагявичус, озабоченно поцокав языком, сел за баранку и начал осторожно продвигать «Кольгринду», как он стал называть нашу машину, по доскам. И в тот момент, когда передние колеса «Кольгринды» уже въехали на шаланду, она покачнулась, осела и личности, державшие концы, выпустили их. Баржа медленно стала отходить от берега.

Держи концы! — Закричал я.

Мы выскочили наверх, вцепились в концы и остановили шаланду. Но доски уже полетели в

воду. Личности разбежались. Положение было трудным. Передние колеса машины находились на шаланде, задние — на причале. Между ними образовался просвет около двух метров, в котором плескалась вода. Мы не могли подтянуть шаланду к причалу. Этому мешала тяжело нагруженная машина. Доски, которые мы вытащили из воды, едва касались концами шаланды и причала. Погубить экспедиционную машину, да ещё после конца работы, было бы тяжёлым ударом. Но я уже знал, что этого не случится. Порукой тому был дружный коллектив экспедиции, которому и не такие задачи по плечу. Басанавичус и Нагявичус прибили края досок к причалу, а другие их концы, едва касавшиеся шаланды, мы, как могли, закрепили тросами. Остальные в это время крепко держали носовой и кормовой канаты, не давая шаланде отойти от причала ни на один сантиметр. Нагявичус через кузов влез в кабину, завел мотор, прогрел его, дал сильный газ и с криком «Перкунас!» включил заднюю скорость. Машина рванулась назад. Доски тут же полетели в воду. Передние колеса повисли в воздухе, но почти вся машина уже находилась на причале. Мы подвели под передний мост машины ваги, вывесили её и на руках закатили на причал.

Экскурсия на песчаную косу не состоялась, но это не так уж важно. Зато удалось главное, и я в этом ещё раз убедился.

...Мы подъезжали к Вильнюсу ярким, солнечным днем. Мы сидели в кузове, положив друг другу руки на плечи, и пели, а Нагявичус подпевал нам из своей кабины.

И вот снова мы трое – Сергей Маркович, старина и я – сидим в уютном кабинете под бронзовой дамасской люстрой, пьем крепчайший душистый кофе и едим ак-алву – белую халву, которую по караимскому обычаю, подают на стол во время разных радостных событий.

После того, как я подробно рассказал о работе экспедиции, о Жемайтии, Сергей Маркович, улыбнувшись, сказал:

— Помните, друзья, легенду, которую я не успел досказать вам перед отъездом? Что же, теперь у нас есть время. Я скажу вам, кто же по праву должен был стать мужем девушки...

— Сергей Маркович, — прервал я Шапшала. — Мы со стариной во время экспедиции не раз вспоминали эту легенду. И мне кажется, что мы знаем, кто имеет бесспорное право стать мужем. Позвольте нам досказать?

— Да, конечно! — Отозвался Шапшал и снова улыбнулся.

— Тот, — сказал я и за Владаса и за себя, — кто оставался с ней, кто не покинул её ни живой, ни мёртвой. Потому что если бы он покинул девушку, то коршуны и шакалы разорвали бы её. Тогда нечему было бы оставаться нетленным и некого было бы воскрешать. Так ведь? Спасибо вам за все.

## ПРОПАВШИЙ МОГИЛЬНИК

В Молдавии, в самый разгар полевых работ, мы получили сообщение, что возле села Боканы Фалештского района, при разработке песчаного карьера найдены человеческие кости и какой-то горшок. Взяв с собой своих учеников — Георге Чеботару и Володю Андриана, я выехал в Боканы.

Тент экспедиционного фургона был откинут. Мы сидели в кузове. Упругий, душистый степной ветер бил в лицо. Сверкнув на солнце рыжей, с сильной проседью шевелюрой,

экспедиционный шофёр Гармаш наполовину высунулся из кабины и, повернувшись к нам, подмигнул Георге:

— Маэстро, Коломбина просит серенады!

Коломбиной он называл нашу выдавшую виды экспедиционную машину.

Георге, который во всех случаях, когда ему предоставлялась возможность проявить свои таланты, не заставил себя уговаривать. Он запел, и мы подхватили песню. Впереди нас ждало какое-то новое, может быть, очень важное и интересное открытие, и мы были полны этим ожиданием, полны нетерпением и радостным предчувствием. Кто хоть раз бывал в экспедиции, поймёт меня. Мы пели, болтали о разных пустяках, но, по неписаному экспедиционному правилу, ни словом не обмолвились о новостях из Бокан. Это мудрое, стоящее правило. Пока в руках нет ещё материалов, пока ещё ничего толком не известно, бесплодно и даже опасно строить какие-нибудь гипотезы и догадки. То, что ищешь, впервые нужно увидеть без всяких предвзятых мыслей и предположений...

Сделав крутой вираж, машина въехала на вершину большого пологого холма у околицы села и замерла. Мы выскочили и осмотрелись. Изрезанное кривыми линиями карьера, желтело песком подножие одного из склонов холма. Там копошились люди с лопатами, чего-то ждали несколько гружёных подвод.

Георге, Володя и Гармаш спустились вниз, чтобы поговорить с рабочими в карьере, а я обошёл холм. На склоне его, противоположном тому, где находился карьер, виднелись слабые следы древнего поселения. Кое-где попадались мелкие фрагменты древней керамики — горшков и других сосудов. Они отличались весьма малой выразительностью — эти обломки серых, лощённых снаружи сосудов, сформованных на гончарном круге. Такие серолощённые сосуды были широко распространены в первые века нашей эры на огромной территории всего Северного и Западного Причерноморья. Всего несколько поселений того времени было открыто до сих пор в Молдавии (в 1953 году), но ни одно из них ещё не раскапывали. А могильники первых веков нашей эры и вообще ещё не встречались и в Молдавии. Если человеческие кости, найденные рабочими карьера, — остатки могильника, связанного с этим поселением, то открытие очень важное.

Мои размышления прервали Георге и Володя. Георге подробно расспросил рабочих и на основании их рассказов уже сделал на листке, вырванном из планшета, схематический чертёж того, что они нашли. На глубине полутора метров с вытянутыми руками и ногами лежал человеческий скелет. У ног его стоял горшок, у правой руки находилась железная сабля. Так рассказали рабочие. Георге совершенно правильно решил, что это — древнее погребение и что здесь должен находиться могильник.

Володя после долгих раздумий произнёс только одно слово:

— Язычник.

Что же, и это правильно. Если вместе с умершим положили саблю и горшок, значит, это погребение языческое: христианская церковь запрещала хоронить людей с вещами.

Георге выкопал и упаковал человеческие кости, выброшенные рабочими на откос. После этого мы с ним и с Володей отправились к школьному учителю, который взял себе на сохранение горшок и саблю, а Гармаш пошёл договариваться насчёт обеда. Учитель, который и сообщил в Академию наук о находке, очень обрадовался нам и выложил найденные вещи на стол. То, что рабочие называли саблей, оказалось длинным и узким железным мечом с прямым перекрестьем рукоятки, а горшок — невысоким одноручным кувшином, покрытым вертикальными линиями лощения на плечиках.

Георге радостно закричал:

— Погребение сарматского воина второго–третьего века нашей эры!

Володя, насупившись, ответил:

— То, что второй–третий век, — правильно, но только это погребение не сармата, а гета!

Георге вознегодовал и, размахивая перед носом Володи мечом, словно собирался проколоть его, стал кричать:

— Сарматское!

Володя отвечал односложно, но упрямо:

— Нет, гетское.

Георге обратился за поддержкой ко мне:

— Георгий Борисович, поглядите! Он ещё спорит. Это ведь типичный сарматский меч, такие и на Украине в сарматских погребениях найдены!

— Правильно, Георге, — ответил я.

— Типичный гетский кувшин, — сказал Володя, — таких сколько угодно найдено в Румынии, в центре гетского царства.

— Ну и что же, что кувшин гетский? — не сдавался Георге. — Воин–сармат купил его у какого–нибудь гета.

— А зачем нужно было покупать горшок? Горшки и так все умели делать! А вот мечи умели делать немногие. Это гет, который купил меч у сармата!

— Подождите, друзья, — прервал я обоих, — дело серьёзное, не будем спешить с выводами.

Но Георге, не выносивший, если поле боя оставалось не за ним, куда–то убежал. А подумать было над чем. Действительно, ведь очень странно, что в одной могиле нашлись и типичный сарматский меч, и типичный гетский кувшин. В чем дело? Почему?

Историческая обстановка на территории Молдавии во II — начале III века нашей эры была сложной и запутанной. Об этом свидетельствовали древние авторы — греческие и римские путешественники и историки, которые либо побывали здесь в то время сами, либо описывали эти места со слов современников–очевидцев. На Балканском полуострове, в Северном и Западном Причерноморье издавна обитали фракийские племена. Два племени — геты и даки — еще в III веке до нашей эры создали могущественное объединение. Центр его находился на территории Трансильвании, ныне входящей в состав Румынской Народной Республики. Это объединение постепенно превратилось в сильное, имевшее дело со многими племенами государства. В те же времена происходило великое переселение азиатских и европейских народов. Из недр Средней Азии, от границ Индии и Китая двигались на запад по широкому степному коридору через прикаспийские, придонские, приднепровские, приднестровские степи бесчисленные кочевые племена. Уже во II веке до нашей эры вся Восточная Европа до Дуная, включая, естественно, и территорию Молдавии, заселённую гетами, стала называться Европейской Сарматией.

В конце II века нашей эры от берегов Балтики двинулись на юг к Чёрному морю по Днепру, Днестру и Дунаю тяжело вооружённые дружины германских племён — готов. Где–то в Северном Причерноморье вступили в борьбу с готами славянские племена. Сложными и

противоречивыми были взаимоотношения гетов — коренного населения Молдавии — со всеми этими племенами. Но главная опасность угрожала гетам с юго-запада.

В 102 году нашей эры, идя на север из глубины Балканского полуострова, перешла Дунай и выступила огромная римская армия во главе с императором Ульпием Траяном. Это была наиболее сильная, наиболее боеспособная, наиболее опытная и закалённая в боях армия в мире. Легионы Рима к этому времени уже подчинили его власти Англию и Испанию, Францию и Египет — словом, все страны, находившиеся в пределах досягаемости римского меча. Одно мощное гето-дакийское царство оказало им упорнейшее сопротивление.

Война продолжалась долго. В жестоких боях приходилось римлянам завоёвывать каждую пядь земли. Только через семь лет кровавой резни они захватили, наконец, столицу царства — Сармицегетузу. Вождь гето-даков Децебал покончил с собой. Гето-дакийские города и крепости были разрушены, сотни тысяч людей убиты или обращены в рабство. Но всех земель гето-даков римляне так и не сумели захватить. В высокогорных районах Трансильвании, на территории Молдавии, кое-где ещё продолжали вести с римлянами жестокую партизанскую борьбу свободные, непокорные племена.

Судя по сообщениям римских историков, вместе с гето-даками вели борьбу против римлян и конные отряды сарматов. В сценах из гето-дакийской войны на каменных рельефах гигантского монумента, возведённого римлянами в честь победы, некоторые учёные видят наряду с изображением даков и гетов также славянских и германских воинов. Это предположение совершенно естественно. В борьбе против Рима, который нёс рабство и смерть покоренным народам, гетам и дакам, скорее всего, помогали и другие племена. Но о жизни их мы знаем очень мало, да и то лишь со слов их поработителей-римлян. Понятно поэтому, как ценно было бы открыть могильники людей, населявших Молдавию во II—III веках нашей эры.

Однако здесь, в первом же погребении, мы увидели нечто странное и непонятное: в одну и ту же могилу, вместе с одним и тем же покойником были положены и сарматская, и гетская вещи, хотя каждое из древних племён имело свои, только ему присущие оружие, украшения и утварь. В чем дело?

Выйдя из гостеприимного дома учителя на улицу, я сразу же увидел, что на вершине холма уже была укреплена мачта, на которой развевался флаг нашей экспедиции. А надо вам сказать, что флаг поднимают лишь в тех местах, где экспедиция ведёт работы постоянные, стационарные. Это, конечно, Георге уже постарался. Сразу поняв, на какой важный памятник древности мы наткнулись, он, как человек действия, не стал медлить.

Итак, флаг боканского отряда экспедиции был поднят. Однако, кроме флага да одного погребения, разрушенного колхозниками в карьере, ничего больше пока не было. А положение у меня создалось затруднительное. Дело в том, что на севере Молдавии, в Кодрах, мы вели раскопки древнего славянского городища. Работы там велись в большом масштабе, требовали предельного напряжения всех сил экспедиции, силы же эти были не слишком велики. У сотрудников экспедиции не хватало ни знаний, ни опыта. Это теперь они уже умелые археологи, работники Молдавской Академии наук, а тогда они ещё только учились в университете и, ведя раскопки, познавали азы. В этих условиях я ни одного человека не мог больше снять с раскопок городища, чтобы перебросить в Боканы. Ведь отъезд Георге и Володи и так увеличил громадную нагрузку оставшихся. Сам я тоже должен был оставаться на городище.

Итак, раскопки первого в Молдавии могильника эпохи великого переселения народов приходилось доверять двум студентам, из которых Георге всего четыре года работал в экспедиции, а Володя и того меньше. Кроме того, каждый из них, помимо достоинств, обладал ещё и существенными недостатками. Я долго не мог решить, кого же из них

произвести в начальники отряда. В конце концов решил, что лучше, если будет начальником неторопливый Володя. Георге же, как более опытному, я присвоил весьма неопределённое, но почётное звание научного консультанта.

Георге вступил на свой пост с достоинством и явным удовольствием.

Воспользовавшись тем, что Володя принимал отрядное имущество — лопатки, приборы, палатки, вьючные ящики, я отозвал Георге в сторону.

— Послушай, Юра, — сказал я, — Володя очень добросовестный и хороший работник, но ты знаешь, как он медлителен. Ты должен обеспечить, чтобы работы велись оперативно, энергично. Я на тебя полагаюсь.

— А я вам говорю, Георгий Борисович, — отозвался Георге, как будто я с ним спорил, — я здесь такие разверну работы, что всем покойникам жарко станет!

Получив такие значительные, хотя и немного смутившие меня заверения, я пошёл к Володе и сказал ему:

— Володя! Помни, что ты начальник отряда. Юра все делает быстро и энергично, но он не всегда внимателен к деталям. А ты ведь знаешь, какое значение имеют при раскопках детали. Так вот: могильник должен быть раскопан по всем правилам, и отвечаешь за это ты.

Из главного лагеря экспедиции сразу же по приезде туда я отправил боканскому отряду необходимые им материалы. Отвез их Гармаш. Через несколько дней он вернулся с подробным письменным отчётом о работе отряда, который составили совместно Георге и Володя. Работы развёрнуты и идут полным ходом. Открыто ещё семь погребений, мужских и женских. В каждом погребении, как и в первом, встречаются и сарматские и гетские вещи.

Археологи, работавшие на городище, долго гадали вместе со мной: что же значит это странное сочетание? Но объяснений не находилось. Во всяком случае, раскопки продолжались, а пока что это было самое главное.

Вдруг, дней через десять после начала работ на могильнике, я получил срочную телеграмму из Бокан: «Могильник пропал тчк Работы остановлены тчк Что делать много тчк Георге тчк».

Таинственные слова «много тчк», конечно, должны были передать, ввиду отсутствия в телеграфной передаче восклицательных и вопросительных знаков, душевное смятение Георге. Однако это было все, что я понял. Как это: могильник пропал? Куда пропал? Ну и Георге...

Впрочем, раздумывать не приходилось: следовало немедленно выезжать в Боканы. Так я и поступил. Сдал дела на городище своему заместителю, показал Гармашу телеграмму Георге и добавил ему только одно:

— Семён Абрамович, сам понимаешь, как важно добраться поскорее.

— Будьте спокойны, — ответил невозмутимый Гармаш. — У нас будет все как в цирке. И даже лучше!

Гармаш не торопясь осмотрел машину, не торопясь вывел её на дорогу, разогнал, перевел рычаг на четвертую скорость. Машина рванулась вперёд.

Зная характер Гармаша, я вцепился в железный поручень на переднем щитке, чтобы не слишком больно удариться о потолок и двери кабины.

Это было своевременно. Наша верная Коломбина летела по ночной Молдавии. Она то

перепрыгивала через горбатые мостики, едва не делая сальто, то взлетала под самый купол звёздного неба, на вершину огромного скифского кургана, через который лежал просёлок, то ныряла вниз, к зелёному ковру долины, так что замирало дыхание, то чиркала лучами фар по крапчатой сетке леса. Передний и задний края тента хлопали, как бичи укротителя. Не хватало только аплодисментов, но в них мы, впрочем, меньше всего нуждались.

Через три часа наш «ГАЗ–63» пересек всю Молдавию, проделав путь в двести семьдесят километров, и затормозил у чёрных острых силуэтов палаток боканского отряда.

В отряде все спали. Я убедился в этом по храпу, несущемуся из жилой палатки. Войдя в неё, я зажёл фонарь. Володя, раскинувшись, спал на ящиках с находками, накрытых брезентом. Кровать же Георге, как всегда аккуратно заправленная, была, однако, пуста и даже не примята.

Разбудил Володю:

— А где Георге?

— На энтээф, — сумрачно ответил ещё сонный Володя. — У него там много знакомых.

Из деликатности я не стал расспрашивать о подробностях.

Однако не успели мы с Володиёй развернуть находки и чертежи, как откуда-то появился и Георге. Вид у него был очень деловой. Правда, вслед за ним тихо вошёл в палатку и пристроился на ящиках Гармаш.

— Сначала покажите все находки, — сказал я, хотя мне и не терпелось узнать, что это за пропажа могильника.

Всего было вскрыто семь погребений: три мужских и четыре женских. Во всех случаях скелеты лежали на спине, с вытянутыми ногами и руками, головой на север или северо-запад. Остатков гробов, колод, кожаных или берестяных покровов, в которые завёртывали покойников, не обнаружили нигде. Мужские скелеты принадлежали рослым, сильным воинам. Фаланги пальцев их правых рук покоились на рукоятках длинных железных сарматских мечей. В ногах или возле головы стояли гетские горшки и кувшины.

В могилах с женскими погребениями встречались голубой и зелёный сарматский бисер, бронзовые круглые сарматские зеркала, гетская посуда, гетские пряжки и гетские же фигурные застёжки — фибулы.

Георге, усиленно обращавший моё внимание на каждую сарматскую вещь, с торжеством вытащил из ящика три человеческих черепа и сказал:

— Вот бинтовая деформация!

Правота Георге была очевидна: все три черепа отличались вытянутой яйцевидной формой. Черепа были деформированы искусственно. Грудному ребёнку с ещё не окрепшими костями бинтовали голову, и череп постепенно принимал вытянутую форму. Может быть, это отвечало эстетическим, а может быть, ритуальным воззрениям сарматов. Во всяком случае, искусственная деформация черепов хорошо прослежена у сарматов — например, в их погребениях того времени в Поволжье.

Володя, до того показывавший вещи молча, негромко сказал:

— Счет: три — четыре!

Георге сразу же вскипел:



— Ну и что же, что остальные четыре черепа не деформированы. Здесь все перемешано.

— В этом—то и дело! — отозвался Володя.

Мне тоже начинало казаться, что дело именно в этом. Но требовался ещё материал, чтобы делать какие—либо выводы.

Пока шёл спор, осмотр черепов и вещей, рассвело, и мы отправились к раскопкам.

— А теперь скажите, Юра: куда же пропал могильник? — обратился я к Чеботару.

— Сам не знаю, — развел руками Георге. — Сначала все шло хорошо, нашли семь погребений, а потом они вдруг прекратились.

— Вы хорошо искали? Может, могильник был уже давно уничтожен карьером, только нам не сообщали об этом?

— Нет, — сказал Володя, — в карьере ничего больше не было найдено. Да и не могли найти. Карьер врезался в могильник только одним отсеком, на изгибе холма, и разрушил всего одно погребение. Все проверено.

Мы подошли к могильнику. Возле того отсека карьера, где было найдено первое погребение, виднелся большой прямоугольник раскопа, а от него через изгиб холма расходились под острым углом, как стойки рогатки, две большие длинные траншеи. Одна вела к самой вершине холма, другая — вниз, к карьере.

— Почему ваши разведочные траншеи имеют У—образную форму? — спросил я.

— Сарматы, как и другие кочевники, хоронили своих умерших на вершинах холмов, — запальчиво ответил Георге. — Вот я и заложил траншею по направлению к вершине.

— Геты, как и другие земледельцы, устраивали могильники либо на совсем ровном месте, либо на пологих склонах, — упрямо отозвался Володя, — поэтому я заложил свою траншею понизу.

— Да, но ведь ты сам сказал, что здесь все перемешано, — ответил я Володе. И приказал Георге принести трассировочный шпур, буссоли, колышки, чертежи всех погребений, их сводный план и вызвать рабочих.

Георге умчался, а мы с Володей ещё раз осмотрели стенки карьера, а также профили и пол раскопа и разведочных траншей. Никаких следов могильных ям или каких—либо других перекопов! Это был, как называют его археологи, материк — почва, которой никогда раньше не касалась рука человека.

Георге прибежал через несколько минут и принёс все, о чем я его просил. Вернее, не совсем все: оказалось, что друзья, увлечённые каждый своей теорией, не вели сводного плана погребений. Правда, сводный план, если есть точные координаты всех погребений, можно составить и по окончании работ, но все же рекомендуется составлять его в процессе раскопок. И рекомендуется не зря. Когда на листе миллиметровки мы составили в масштабе план всех восьми погребений — одного разрушенного в карьере и семи раскопанных нами, — то чётко обозначились два ряда могил. В одном ряду было открыто пять погребений, в другом — три. Ряды были параллельны друг другу и шли между разведочными траншеями. Все было ясно.

— Не нужно новых траншей, — обратился я к Георге, — разбивай прямо раскопы.

Георге только кивнул головой. Белый трассировочный шпур уже отделял на холме широкие

полосы раскопов, разбитых примерно посередине склона — точно, как продолжение направления рядов вскрытых погребений.

И через два часа после начала работ в раскопах появилось сразу три новых погребения. Их встретили криками «ура». Могильник опять нашёлся! Хотя его расположение не было типичным ни для сарматских, ни для гетских могильников, но он был расположен именно так. И в новых погребениях, как в каждой могиле, всякий раз снова встречались и сарматские и гетские вещи.

Но это уже не мучило нас. Мы начинали понимать, в чем дело. Пока мы с Георге расчищали вновь открытые могилы, Володя шурфовал поселение, расположенное на другом склоне холма. Культурный слой оказался там довольно мощным. Это свидетельствовало, что поселение было обитаемо долго. И в слое, как в могильнике, опять—таки сарматские и гетские вещи выходили наружу вперемежку.

Володя закончил шурфовку и сделал совершенно правильный вывод: в этом поселении обитали сарматы, но они уже перестали быть кочевниками, осели на землю, начали заниматься земледелием. Георге из походной библиотечки Володи, с которой тот никогда не расставался, вытащил сочинение знаменитого римского историка Тацита «Германия». Описывая племена, жившие в Западном Причерноморье, Тацит, между прочим, сообщал, что местные жители изменились, огрубели в результате смешанных браков с сарматами. Тацит жил в I веке и писал об областях, которые находились несколько западнее Молдавии, но ясно, что и во II веке на территории Молдавии происходил тот же процесс перемешивания местного населения с оседавшими на землю сарматами, и мы нашли реальные вещественные и антропологические доказательства этому! Если древние авторы сообщали, что сарматы и геты объединялись в борьбе с общим противником — рабовладельческим Римом, то теперь мы видели, что это объединение зашло очень далеко и что сарматы и геты, тесно перемешиваясь друг с другом, перенимали также обычаи и изделия друг у друга! Поэтому так необычно был расположен и могильник. Даже в его расположении отразился процесс смешивания между сарматами и гетами.

Каждое вновь открытое погребение подтверждало нашу гипотезу, и от этого особенно радостно и интересно было работать. А находки были замечательными. На раскопе у Георге открыли необычайно богатое женское погребение: три с половиной тысячи разноцветных стеклянных бусин, четыре бронзовых зеркала, кувшинчик, покрытый красным лаком, несколько фибул, бронзовые перстни и браслеты. Бусины нашли не только на груди, но и на кистях рук умершей, и на щиколотках. Возле головы откопали совершенно целый стеклянный римский флакончик для благовоний — круглый, с невысоким горлышком, с двумя ручками в виде лебедей с запрокинутыми головками. Стекло покрылось налётом времени — патиной, и кувшинчик отливал всеми цветами радуги. Георге любовно расчищал это погребение сам, орудуя скальпелем, тонкими кистями, пульверизатором. Он никого не подпускал к могиле. Даже когда его верный друг Гармаш, давно уже шнырявший с лопатой по раскопам, попытался приблизиться к погребению, Георге замахнулся на него планшетом:

— Говорю тебе — не подходи! Это что — твоя невеста?!? Ты её выкопал?

Дело в том, что, судя по антропологическим данным, умершей было не более двадцати лет, и Георге, исходя из её молодости и богатства её одежды, решил, что она умерла накануне свадьбы и похоронена в подвенечном уборе. Переубедить его в этом было совершенно невозможно, да я и не старался, потому что так и вправду могло быть. Кроме того, я вспомнил, как много лет назад, ещё когда я сам был студентом, я производил свои первые раскопки.

...Исследование могильника подходило к концу. Нужно было уже думать о засыпке пустых раскопов. Гармаш предложил вызвать бульдозер из соседней МТС, но Георге, обретший

свою обычную форму, надменно отказался. Он заявил, что при помощи некоторых технических приспособлений мы сами в два счета закопаем раскопы нашей машиной.

После этого он достал на МТФ кусок старой железной ограды с двумя стержнями, отходившими от неё под прямым углом, привязал ограду за стержни к переднему бамперу машины и закрепил на ограде доски. Перед машиной оказалась как бы огромная лопата, возвышавшаяся над уровнем земли сантиметров так на пятнадцать.

Я довольно скептически смотрел на все это сооружение. Но Георге потребовал, чтобы Гармаш спустился на машине в карьер и для пробы попытался смести этим приспособлением небольшую кучку песка на дне карьера.

Гармаш, возмущённый тем, что изуродовали его Коломбину, хлопнул дверью кабины и моментально отшвырнул кучку песка. Тогда и я уверовал в технический гений Георге и даже сказал укоризненно Гармашу:

— Вот видишь, Семен Абрамович! А ты говорил — бульдозер!

Но Гармаш мне ничего не ответил и только пожал плечами.

Работы были завершены. Флаг экспедиции спущен. На засыпку раскопов собралось чуть ли не полдеревни. По команде Георге Гармаш разогнал машину и направил ее прямо на одну из высоких куч, выброшенную из раскопов.

Однако огромная лопата не подняла эту землю, а лишь скользнула поверх кучи и бесславно задралась кверху. Среди собравшихся поглазеть на засыпку раскопов раздался сдержанный смех. Георге на минуту смутился, но тут же воспрянул духом.

— Просто она мало весит, — заявил он, после чего влез на один конец ее сам, на другой уговорил встать Володю.

Гармашу велел сильнее разогнать машину и ехать прямо на кучу.

Гармаш отъехал подальше и сильно разогнал машину. Стройный Георге, подбоченясь, гордо стоял на конце лопаты. Его внешность особенно выигрывала по сравнению с маленьким, тщедушным Володей, который откровенно был озабочен лишь тем, чтобы не упасть. Лопата со скрежетом врезалась и кучу земли, машина рванулась и встала: задние колеса забуксовали. От сильного толчка и Георге и Володя полетели головой вниз в пустой раскоп.

Вылезли они оттуда красные, помятые, смущённые и молчаливые. Впрочем, Володя смущался лишь за компанию — не он же был изобретателем этого самодельного бульдозера.

Гармаш с отвращением отвязал ограду от бампера и негромко, но внятно сказал, обращаясь к радиатору своей Коломбины:

— Когда ребята—студенты валяют дурака на потеху людям, это ещё туда—сюда. Но, когда взрослый человек, начальник экспедиции, их поддерживает, — это... — и от избытка чувств пожал плечами.

Коломбина благородно молчала. Володе, Георге и мне тоже как—то не хотелось вмешиваться в этот разговор.

К счастью, из—за холма показался заблаговременно вызванный Гармашом бульдозер.

— Куда ты едешь?! — снопа принялся командовать воспрянувший духом Георге. — Я тебе говорю, заезжай с этого бока.

Машинист бульдозера покорно повернул, бульдозер своим сверкающим ножом прорезал кучу, и первые комки слежавшейся земли с глухим шумом упали на дно пустого раскопа.

А на другой день отряд разведки, который по моему распоряжению уже две недели работал в бассейне Прута, сообщил, что в сорока километрах от Бокан, в селе Малаешты, открыт могильник несколько более раннего времени, чем Боканский, — IV или может быть начала V века нашей эры. Появилась возможность заглянуть в ещё одну, пока не прочитанную страницу истории Молдавии. И, несмотря на неудачу с засыпкой раскопов, я спокойно доверил раскопки этого могильника бывшему боканскому отряду.

## ЦАРА РОМЫНЯСКА (Земля румынская)

Работа в Румынии стала логическим продолжением многолетних археологических раскопок в Молдавии. В судьбах населения этих стран с глубокой древности было много общего, обе они тесно связаны на протяжении своей многовековой истории со славянами. Однако до установления народной власти археологические исследования в Румынии были очень тенденциозными. Буржуазные археологи раскапывали на территории этой страны главным образом поселения эпохи римской оккупации II — III веков нашей эры. Средневековые памятники, в которых ярко прослеживаются многообразные связи между нашими народами, попросту почти не изучались. Перестраивая работу на новый лад, румынские археологи, естественно, не раз обращались за помощью и советом к нам — их советским коллегам. Так началась и все более крепла наша дружба. Не раз в числе сотрудников экспедиции работал я на территории Румынии. Изучал музейные фонды в Бухаресте, в Клуже и Яссах, Галаце и Констанце и в других румынских городах. Проходил с разведкой в горах Трансильвании, среди озёр и плавней Добруджи, в долинах Мунтении, по холмам Молдовы. Принимал участие в советско-румынских археологических семинарах. Их состоялось уже четыре: первый — в Алчедарском лагере нашей экспедиции, второй — в Кишиневе, третий и четвёртый — в Бухаресте. Не раз работали и у нас в Молдавии румынские археологи. Каждый год крепнет наша дружба, в совместной работе мы учимся друг у друга, вместе решаем общие научные проблемы, все лучше узнаем друг друга и наши страны. За годы совместной работы много было сделано и много пережито. Мои записные книжки полны не только археологическими заметками, но и описанием различных встреч, случаев, впечатлений. Превратить их в связный и законченный рассказ или в книгу рассказов о Румынии оказалось гораздо труднее, чем написать и опубликовать несколько научных статей о румынской и молдавской археологии. Но я все же обязательно постараюсь написать такую книгу. А пока мне хочется рассказать о двух историях, связанных с Румынией. Об одной из них я узнал во время своего первого посещения Румынии, вторая началась недавно и ещё не закончилась. Людей, которые принимали участие в этих историях, разделяют столетия, жизненные интересы и многое другое. Но объединяет их, как мне кажется, самое главное — верность своему долгу, мужество и бескорыстие.

## ЗАМКА

На северо-востоке Румынии, в Буковине, находится город Сучава, сейчас — центр небольшой области, некогда — древняя столица всей Молдавии.

Бродя по окрестностям Сучавы, я обратил внимание на каменную крепость, которая стоит на вершине высокого холма к западу от города.

Крепость привлекла моё внимание необычными для местной архитектуры, но чем-то знакомыми пропорциями, восточным обликом многогранных башен и видневшегося в центре собора.

Вершина холма возле крепости была изрыта глубокими траншеями, изборождена валами и эскарпами. Все говорило о том, что здесь работали опытные военные инженеры, происходили когда-то напряжённые военные события. Сейчас эти сооружения имели вполне мирный вид. Траншеи и валы поросли густой сочной травой, среди которых пестрели головки мальв. На дне глубокого рва паслась рыжая коза.

Крепостные стены, построенные в виде правильного замкнутого четырёхугольника, были очень древними. Подножия их обомшели, а кое-где в неглубоких выбоинах выросла трава и даже целые деревца. Однако, несмотря на древность, стены эти показались мне удивительно прочными и добротными.

С плато открывался широкий вид на зелёные, спокойные холмы, которые тянулись один за другим до самого горизонта. Вокруг не было ни души.

Над воротами, сделанными в двух противоположных стенах крепости, возвышались мощные четырехугольные башни. Одна из них метров двадцать высоты, другая — поменьше. Большую башню из темно-красного кирпича, как богатырский пояс, стягивала посередине широкая полоса из трёх серых каменных лент, переплетённых между собой.

Порталы крепостных ворот обрамлены желтоватыми резными каменными плитками. На плитках изображены гроздья винограда, розетки, цветы. Ни одна плитка по рисунку не похожа на другую. Этот орнаментальный приём очень характерен для армянского искусства.

Я обошёл крепость и вошёл внутрь. Собор, стоящий в центре крепости, выстроен в строгих традициях классической армянской архитектуры. Он увенчан стройным восьмигранником купола, такой же восьмигранник возвышается и над большой башней.

Вокруг собора — каменные надгробья с клинообразными армянскими надписями. В одном из боковых приделов — большая надгробная плита. Здесь погребён армянин Агобша Вартанян — строитель собора.

Надвратные башни, собор и крепость, такие обычные где-нибудь на склонах Арарата, в окрестностях Севана или Гарни, производят здесь, среди зелёных холмов Молдовы, странное и загадочное впечатление.

С трудом разыскал я сторожа. Это был тощий старик со сбитой набок бородкой. Он размахивал руками и говорил такой непонятной скороговоркой, что даже раздосадовал меня. Его маловразумительный рассказ отнюдь не удовлетворил, а только подогрел моё любопытство. Оказалось, что крепость-монастырь построена ещё в XVII веке какими-то армянами, которые здесь и жили. Большая башня называется параклис. Вся же крепость издревле носит странное, славянское название — Замка.

Вот и все, что сообщил мне сторож, или, вернее, все, что я мог понять из его сбивчивых объяснений, да ещё на чужом для меня языке.

— Светлые были люди! — Сказал под конец сторож.

— Это почему же? — Спросил я. — Богу, что ли, усердно молились?

— Они по-своему молились, — загадочно ответил сторож. — Их молитву не услышал бог, но люди помнят эту молитву.

Заинтригованный всем виденным и услышанным рассказом, я стал расспрашивать

старожилов Сучавы, познакомился со старинными документами и книгами. Официальная историография почти ничего мне не дала. Но так захватили меня поиски, что вместо двух–трёх часов, как предполагалось, я пробыл в Сучаве и в окрестных деревнях четыре с лишним дня.

Вернувшись наконец к Замке, я по–новому увидел монастырь, и необычайная жизнь его строителей и обитателей прошла передо мной.

...В XVII веке многие армяне, потеряв жён и детей, перерезанных турками в сожжённых деревнях, разбитые в неравных боях с янычарами султана, вынуждены были бежать за пределы родины.

Часть беженцев нашла приют за тысячи километров от родной земли, под защитой Молдавского государства, где и раньше селились их соплеменники.

Бездомные, одинокие странники, они сошлись здесь и построили этот монастырь по образу и подобию тех, которые строили на своей далёкой родине.

Среди беженцев было много талантливых людей — зодчих, художников, камнерезов. В их творчестве ярко видны и любовь к родному искусству, и скорбь о погибших, и смелая, гордая мысль.

Узкая, крутая лестница с выбитыми ступенями, сделанная в толще стены, ведет в надвратную церковь. Яркий солнечный луч, пробившись сквозь круглую бойницу, осветил тончайшие спирали резьбы, которыми покрыты стены. Алтарная абсида, обрамленная широкими плетёными каменными поясами, украшена фресками. Нежные, мягкие тона и полутона — коричневатые, кремовые, — которыми написаны фрески, создают настроение тихой, задумчивой печали.

Мы привыкли видеть в центре церковной фресковой живописи грозный лик пантократора — вседержителя, «властелина мира», гневные, величественные лица апостолов, торжество и пышность могущества «небесных сил», всепроникающие глаза, которые вопрошают о грехах и призывают к покаянию.

Здесь, в центре, — сцена успения богородицы. На небольшом возвышении лежит женщина с утомлённым, добрым лицом. В скорбном молчании склонились вокруг умершей длиннородые старики армяне, молодые статные воины. Вокруг центральной фрески — различные сцены из жизни богородицы.

Вряд ли это случайно. Неизвестный художник, когда писал эти фрески, видел, наверное, перед собой одну из жертв кровавой резни на своей истерзанной родине.

Бежавшие сюда, за тысячи вёрст, армяне хорошо знали цепу жизни и свободы, они знали, что и за эти тихие зелёные холмы Молдовы нужно уметь сражаться, что и сюда может прийти беда.

Замка — не только монастырь. Это и первоклассная крепость. Высоки и широки каменные монастырские стены. Каждый кирпич и камень в них отбит по ниточке и укреплен на прочном растворе. По обе стороны стен поставлены мощные контрфорсы — каменные подпоры. В надвратных башнях по углам и прямо у алтарей — широкие, прямые и скошенные бойницы. Хорошо продуманная система этих бойниц, расположенных под разными углами и во всех направлениях, давала возможность открыть фланкирующий и прямой кинжальный огонь по любой точке на подступах к крепости. Узкие каменные кельи, в которых жили и оплакивали погибших на родине обитатели монастыря, расположены как боевые ячейки вдоль наружных степ башен. Островерхий вход в кельи настолько низок, что пройти через него можно лишь сильно согнувшись. Внутри только каменные лежанки. Окон нет. Вместо них в каждой келье

— узкая амбразура в стене и косая бойница в полу, чтобы поливать расплавленной смолой и забрасывать камнями противника.

За тысячи вёрст ушли от войны беженцы к этим мирным, зелёным холмам. Здесь они строили, пахали, разводили скот. Сначала делали все это словно во сне, повинувшись лишь инстинкту самосохранения. Работали, чтобы не думать, доводили себя до изнеможения, чтобы не чувствовать. Они слушали пение хора, а слышали стоны распятых и сжигаемых заживо; они глядели на работающих в поле крестьян, а видели тела и лица своих близких, изрезанные кривыми ятаганами; они зажигали свечи, и в мерцающем огне виделось им чадное пламя пожаров.

Но вот однажды ранним весенним утром монах–землероб вышел в поле. Солнце только всходило. Поле было вспахано и засеяно. Оно ещё чернело комками земли. Еле виднелась в нем почти призрачная зелень всходов. Землероб склонился к борозде. Маленький росток пшеницы, казалось, чудом пробил землю. Только–только проклюнулся и стоял неподвижно, свесив дна острого листика, словно обессилев от невероятных трудов. Между листками блестела мутная капля, как пот на лице работника. В топком, нежном, ещё белесом ростке угадывалась могучая плодоносящая сила, которая вскоре яркой и сочной зеленью неотвратимо покроет все поле, заставит тянуться вверх окрепшие стебли, набухать и тяжелеть зерна в колосьях.

Глаза землероба были уже много лет сухими, как высохшие озера. Он припал к тёплой, не остывшей за ночь земле и поцеловал её.

Высоко в небе пел жаворонок. Тихо гудели пчелы. Вдруг на неосёдланных конях проскакала ватага ребятишек из соседней деревни, гоня табун лошадей на водопой к реке. Среди них — знакомый беженцу Влэдуца, сирота, деревенский подпасок.

Влэдуца ещё совсем маленький, но крепко держит он верёвочные поводья, смело блестят его чёрные глаза, изо всех сил стучает он лошадь босыми пятками, стараясь вырваться и скакать впереди всех, острые лопатки так и ходят под топкой, уже загорелой кожей.

«Надо будет сделать ему бурку, — размышляет беженец и усмехается сам себе. — Нехорошо джигиту без бурки! Чёрной шерсти полно на сукновальне. А серебряную тесьму на ворот и застёжки выпрошу у отца эконома». Он встал и пошёл к крепости.

Время, тихая, щедрая природа, доброта мирных людей, окружающих изгнанников, начали брать своё. Души, испепелённые огнём, залитые кровью, стали возвращаться к жизни. Не забыть погибших. Не вытравить из сердца печали. Не заглушить беспокойства и тоски по родной земле, которую пришлось покинуть навеки.

И все же... Жизнь возвращалась, а вместе с ней возвращались надежда и счастье...

Но война, громыхая и сметая все на своём пути, пришла и сюда, в эти тихие, мирные края.

Огромное войско польского короля Яна Собесского вторглось в Молдавию.

Древняя столица Сучава была беззащитной. Ещё за десять лет до этого под давлением турок были разрушены её укрепления.

Лишь Замка стояла на пути к Сучаве. Но этой маленькой крепости интервенты не придавали никакого значения. Они только собирались разместить в ней войсковые интендантские склады...

Утром монах–землероб, собираясь на работу, взглянул в амбразуру.

По полю двигались войска. Полированным железом и медью сверкали на солнце доспехи

наёмных австрийских ландскнехтов; гонведы в расшитых золотом мундирах горячили коней, высоко вздымались бунчуки с конскими хвостами; как на параде, держали строй голубоглазые рослые уланы под хоругвями с изображениями ченстоховской божьей матери. Орлы грозно взмахивали крыльями на золочёных шлемах всадников и на тяжёлых бархатных знаменах.

Впрочем, самим обитателям монастыря, возможно, ничего особенного не угрожало. Христианнейшему католическому королю не пристало убивать единоверцев—христиан, смиренных служителей бога, хотя бы и иной церкви. Их, вероятнее всего, просто выселили бы куда—нибудь поблизости на время военных действий.

Притаившись в укромном уголке, они могли бы переждать конца войны, а затем вернуться к себе в монастырь или построить новый.

Но королевские кони топтали зелёные нивы, в воздухе потянуло гарью с полей, языки пламени поднялись над окрестными деревнями. И впервые за время существования Замки под сводами его загремел набат.

Беженцы не трусили, не изменили, не отплатили неблагодарностью за гостеприимство своей новой родине.

Когда надменный король повелительно постучал железной перчаткой в ворота крепости, над параклисом поднялось боевое знамя молдавской короны с изображением головы зубра со звездой между рогами. Тщетно трубили в серебряные трубы королевские герольды, вызывая на переговоры обитателей крепости.

Загадочный гарнизон молчал. Монахи—воины знали свой долг и свою судьбу. Вытянув длинноствольные боевые мушкеты, закатав рукава чёрных ряс, припали они к бойницам.

Когда вражеские солдаты—жолнеры попробовали выбить крепостные ворота тараном, на них обрушился шквал огня.

Взбешённый неожиданным сопротивлением, Ян Собеский приказал немедля взять монастырь и перебить гарнизон.

Но крепки монастырские стены, отважны, опытни и непреклонны их защитники.

Королю долго пришлось простоять здесь, прежде чем последний из монахов—воинов пал мёртвым около амбразуры в своей келье. Это дало населению Сучавы главное — время. Пока длилась осада Замки и гремел неравный бой, старики, женщины и дети ушли из города и скрылись в потаённых местах в глухом лесу, а все способные носить оружие устремились под знамена молдавского господаря. К его ставке уже стягивалось ополчение, господарские дружины, рыцарские отряды, боярские полки — стягури.

После долгих кровопролитных боёв, которые развернулись по всей Молдавии, Собеский вынужден был перейти к обороне, отступил к Замке и начал спешно укреплять его.

Он насыпал высокие валы и выкопал глубокие рвы, а через некоторое время так и ушёл восвояси...

У воинов—армян из Замки не было здесь ни жён, ни детей, ни родственников. Их некому было даже оплакать по древним обычаям предков. Но память о них живет в народе.

С тех далёких времён, вот уже несколько столетий, по традиции, на праздник весны — Мэрцишор собираются у Замки крестьяне из окрестных деревень. Молодые люди поют, танцуют, дарят друг другу серебряные безделушки на цветных ленточках и иногда задумчиво слушают рассказ какого—нибудь старика о делах минувших, о людях Замки, о верности и мужестве, которым жить и жить во век, пока живы будут на земле люди.



## ПЕРВЫЙ ПАПИРУС

Я спокойно работал в своём кабинете, как вдруг раздался длительный прерывистый звонок: «Вас вызывает Бухарест!» — и я услышал взволнованный голос:

— Говорит секретарь директора Института археологии Румынской академии академика Кондураки. У телефона сам академик и профессор Вулпе. Они просят передать: несколько часов назад профессор и его сотрудники, ведя раскопки руин древнегреческой колонии недалеко от Констанцы, обнаружили круглый каменный склеп. Они расчистили вход и проникли внутрь склепа. Там лежал скелет человека с золотым лавровым венком на черепе и папирусом в правой руке. Папирус испещрён письменами. Судя по амфорам, которые находились в склепе, папирус и весь этот комплекс датируются четвёртым–третьим веками до нашей эры. Когда один из учёных дотронулся до отслоившегося кусочка папируса, он мгновенно превратился в прах. Археологи быстро покинули склеп, вход тщательно закрыли досками, камнями, завалили землей. Профессор немедленно прибыл в Бухарест. Вы понимаете, как важно, как необходимо сохранить этот папирус! Но у нас нет египтологов, нет специалистов по консервации папирусов. Помогите!

— Но ведь я тоже не египтолог, — ошеломлённо ответил я, — и не специалист по консервации!

— Да, да, знаем, — ответил секретарь, — но вы наш старый товарищ по работе, а в вашей стране не может не быть специалистов по любому вопросу. Главное — время, сейчас оно так дорого!

— Хорошо, позвоните через час.

Немедленно я начал звонить во все учреждения, где могли быть люди, знакомые с консервацией папирусов. Но оказалось, что не так-то легко даже в Москве найти такого специалиста. Профессия, что ни говори, редкая...

Что же делать? Ведь может погибнуть открытие мирового значения!

Четвёртый век до нашей эры... Время Александра Македонского... Эпоха эллинизма... Период теснейших связей западной и восточной цивилизаций.

Но как даже в это время на берега Чёрного моря мог попасть папирус? Ведь папирус — бумага из особого сорта тростника — в Европе не употреблялся. Какие тайны хранит свиток? Что начертано на нем? Кем был человек в золотом лавровом венке, погребённый в каменном склепе и в течение двух с лишним тысяч лет сжимавший в руке папирус? Может быть, это был знаменитый поэт, увенчанный за свои произведения лаврами, в могилу которого положили папирус с лучшим из его творений? Может быть, прославленный учёный? Что бы там ни было — это первое открытие такого рода. Невозможно даже оценить его значение. И все под угрозой гибели! Ведь в склеп, многие сотни лет герметически закрытый, проник свежий воздух, отчего весь папирус может рассыпаться, и мы никогда не узнаем скрытой в нем тайны.

Нужно спешить! А до конца рабочего дня осталось несколько часов, и я никак не могу найти специалиста по консервации. В Институте археологии Академии наук СССР мне дали телефон научного сотрудника—египтолога, который может быть знаком с консервацией. Но по телефону никто не отвечает. А время все идёт и идёт...

Звоню секретарю Отделения исторических наук академику Евгению Михайловичу Жукову. Он сразу оценил важность открытия. Он называет фамилию крупного мастера реставрации и консервации — Михаила Александровича Александровского, главного реставратора Музея изобразительных искусств имени Пушкина. По представлению Евгения Михайловича Президиум Академии наук СССР принял решение немедленно направить Александровского в Бухарест. Надо срочно найти его.

Но вот несчастье! Михаил Александрович работает в музее через день. Сегодня его там нет, а живет он сейчас где-то на даче, и адрес никак не могут найти.

И снова звонок из Бухареста.

— Товарищ Кондураки, — отвечаю я, — делаем все возможное. Позвоните, пожалуйста, ещё через час.

Лихорадочно перелистываю записную книжку и... прихожу в отчаяние. Разгар полевого археологического сезона, все специалисты по реставрации и консервации находятся в поле, в экспедициях. Звоню наугад в разные учреждения, имеющие хоть какое-нибудь отношение к делу. И вдруг — неожиданная удача! В Центральных реставрационных мастерских мне отвечают, что у них только что был Александровский и отправился в музей имени А. С. Пушкина.

Наконец-то мы разговариваем с Александровским. Передаю историю драгоценной находки. Он очень взволнован.

— Михаил Александрович, — спрашиваю я, — готовы ли вы вылететь в Бухарест?

— Да, конечно, — убежденно отвечает он.

— Может быть, вылететь придётся ночью и сразу с одного самолёта пересесть на другой, который доставит вас к месту раскопок. И дорога тяжёлая, и дело очень трудное. Вас это не смущает?

Михаил Александрович медленно отвечает:

— Я готов. Я давно готов. Может быть, всю жизнь я прожил для этого полёта.

Значит, это именно тот человек, который нужен для такого дела.

— Михаил Александрович, — говорю я, — вы обеспечите окончательную консервацию папируса, чтобы можно было развернуть его, закрепить и прочесть. Но что делать сейчас? Ведь пока вы окажетесь на месте, папирус может рассыпаться: в склеп проник свежий воздух!

— Вы правы, — отвечает Александровский. — Позвоню вам через двадцать минут. За это время составлю рецепт препарата для временной консервации.

Итак, реставратор найден. Но это далеко не все. Оформление выезда за границу, получение визы, паспорта — сколько на это требуется времени, а дорог каждый час, каждая минута!

И опять приходит на помощь Евгений Михайлович Жуков. Он обращается в высшие инстанции и все улаживает. Александровский может вылететь ночным самолётом.

Уф! Кажется, можно немного перевести дыхание... Не скрою, было приятно, что румынские товарищи обратились за помощью именно ко мне. Это — свидетельство настоящей творческой дружбы. А дружба эта не случайна, она уже имеет прочные традиции...

Мои размышления прерывает телефонный звонок. Тщательно выговаривая каждую букву, диктует рецепты консервирующих составов Михаил Александрович. Только успел записать их, как вновь звонок из Бухареста.

С радостью сообщаю: главный реставратор Музея имени Пушкина Михаил Александрович Александровский вылетает в Бухарест специальным самолётом. Диктую рецепт консервирующих составов, которыми должен быть покрыт папирус до прилёта реставратора.

Кажется, все сделано... Наконец—то кончился этот трудный и счастливый день...

Пока Александровский находился в Румынии, я все время волновался и думал о нём, как волнуются и думают о близком человеке.

И вот мы встретились с Михаилом Александровичем после его возвращения из Бухареста. Он пожал мне руку, передал письма и книги от румынских друзей, усадил в кресло и начал рассказывать.

Руки у него красивые, с сильными тонкими пальцами, какие часто бывают у музыкантов. Говорил он неторопливо, спокойно, даже несколько меланхолично. Выражение его худого лица, с крупными резкими чертами, почти не менялось. За этим внешним спокойствием — нет, не просто угадывался, а отчётливо проступал страстный темперамент борца и учёного, умудрённого огромным практическим опытом, долгой трудовой жизнью.

— Все было обставлено очень торжественно, — задумчиво склонив седую голову, сказал Михаил Александрович. — Собралось много учёных из Румынской Академии наук, из музеев, был и фотограф. Склеп открыли.

Меня поразила необыкновенная чистота внутри склепа. Стены его сложены из отлично пригнанных друг к другу известняковых камней. Скелет лежит в центре склепа, на спине. Судя по антропологическим данным, это мужчина высокого роста, умерший в возрасте лет пятидесяти — шестидесяти. Сохранились остатки кожаных сандалий, ткани, керамические бусины в форме ягодок.

Основная часть свёрнутого в трубку папируса была зажата в правой руке, но отдельные, отслоившиеся кусочки его лежали в разных местах. Свиток имел в ширину около тридцати сантиметров и состоял из нескольких витков.

Я залил в пульверизатор однопроцентный водный раствор консервирующего препарата, спустился в склеп и стал осторожно опрыскивать маленькие, отдельно лежащие кусочки папируса.

Работать пришлось в течение нескольких часов в очень неудобной позе, стоя на коленях над скелетом. Вот так! — сказал Михаил Александрович и, неожиданно соскользнув с кресла, стал на колени на паркетный пол комнаты. — У меня потом долго ноги болели, как после верховой езды, — добавил он, снова садясь в кресло и улыбаясь мягко и застенчиво. — На кусках папируса виднелись чёрные, написанные чернилами буквы, — продолжал он. — Можно было даже разобрать, что это греческие буквы. Впрочем, только на некоторых кусках они проступали чётко, а на большинстве были едва заметны. Я опрыскивал куски папируса, но состав не впитывался, папирус не твердел. А ведь случай исключительный! Что же делать? Отложил пульверизатор, взял себя в руки, стал обдумывать.

Очевидно, в том—то и дело, что случай исключительный. В музее при консервации папирусов мы встречаемся с совершенно чистыми экземплярами, а этот мог пропитаться продуктами разложения, был покрыт пылью и прахом тысячелетий...

Решил сделать раствор более концентрированным. Вместо однопроцентного стал

опрыскивать двухпроцентным. Никакого результата. Все больше и больше усиливал концентрацию, по ничему не получалось. И лишь когда я взял почти четырёхпроцентный раствор, папирус, наконец, начал твердеть.

А потом я увидел на кусочке глины отпечатки чёрных букв с папируса. И тут мне стало не по себе. Понимаете, египтяне применяли водостойкие чернила. Но ведь это писали не египтяне. Письмена греческие. Что, если здесь пользовались неводостойкими чернилами? Ведь я опрыскивал папирус водным раствором! Ткань папируса закрепилась, но буквы могли исчезнуть!

Внимательно в сильную лупу рассмотрел я кусочек глины с буквами. Нет, это не отпечатки букв на глине. Просто папирус превратился в прах, и сохранились лишь исписанные буквами части его на кусочке глины. Чернила оказались водостойкими...

По окончании консервации папирус вынули из склепа; в Бухаресте я ещё раз укрепил папирус. Удалось даже расслоить и разгладить часть свёрнутого в трубку свитка.

— А где же теперь папирус? — Спросил я.

— Здесь, — ответил Михаил Александрович и раскрыл три лежавшие на столе белые коробочки.

Тщательно переложённые марлей, в них покоились темно-жёлтые и коричневые кусочки папируса и даже целая трубочка свитка. На некоторых кусочках можно было рассмотреть чёрные греческие буквы, на других они едва угадывались, на третьих были незаметны даже в сильную лупу.

— Румынские товарищи, — сказал Михаил Александрович, — попросили меня взять папирус в Москву, чтобы завершить консервацию и при помощи всех технических средств нашего музея прочесть и зафиксировать надпись. Вот и все. Это был самый исключительный случай в моей практике.

Я с трудом оторвал взгляд от папируса, спасённого для науки золотыми руками, знаниями и волей Михаила Александровича.

...Прошли месяцы напряжённого труда. Извлечённый из склепа папирус был развернут, подвергнут тщательной реставрации и окончательной консервации.

Теперь перед учёными-палеографами и реставраторами стоит вторая важнейшая задача — восстановить полностью, насколько это окажется возможным, текст. Обыкновенное фотографирование папируса с применением самых различных мощностей и углов освещения не принесло желаемых результатов. Ничего не дали съёмки и в отражённых ультрафиолетовых лучах. Слишком стёртыми оказались многие буквы текста. Были использованы все современные достижения музейной техники. И вот, наконец, при многократных съёмках в инфракрасных лучах начали отчётливее выступать полустёртые, еле заметные буквы и следы от букв. Тайна папируса начинает раскрываться. Но много ещё пройдет времени, много будет затрачено труда, прежде чем весь текст, написанный на папирусе, будет выявлен и сфотографирован. И тогда перед учёными встанет третья важнейшая задача — кропотливая работа над расшифровкой и прочтением текста более чем двухтысячелетней давности.

Пока можно высказать только некоторые предположения.

Склеп, в котором был найден папирус, расположен в некрополе у древнегреческой колонии Галлатии. Человек, погребённый в склепе с золотым лавровым венком на голове и со свитком папируса в правой руке, был знаменитым греческим историком, известным под именем

Димитриоса Галлатийского. На труды его не раз ссылались древние учёные, описывавшие побережье Чёрного моря. Никто не знал точно, когда и где жил Димитриос, где он умер...

А может быть, это был человек, оказавший какие-то огромные услуги жителям колонии, совершивший ради них замечательные подвиги и за это увенчанный лаврами, а на папирусе начертано описание его подвигов и заслуг...

Впереди ещё долгая, тщательная работа. Но можно быть уверенным в том, что она завершится успехом. Опытные, знающие, упорные люди занимаются этим благородным и важным делом.

...Так редчайший документ, обнаруженный в античном склепе, оказался не только драгоценной реликвией прошлого, но и не менее ценным свидетельством братской дружбы и взаимопомощи учёных социалистических стран.

## ТАЙНА ЧЕРНОГО ГОРОДА

Сразу, как только мы переехали мост, ухабистая дорога резко и круто, под углом градусов в тридцать, взмыла кверху. Наш новый шофёр остановил машину и с недоумением посмотрел на меня.

— Давай, Саша! — Донёлся из кузова голос Павла. — Включай передок. Не стесняйся!

Саша машинально завел мотор, а потом, спохватившись опасливо спросил:

— А ещё покруче дороги нет?

— Это единственная. Мы по ней не первый год ездим.

А что, страшно?

— Да нет, — с достоинством ответил Саша. — Просто на дорогу не похожа.

Он и в самом деле включил дополнительную передачу, и наш «ГАЗ-63», рыча, полез по узкой, пробитой в коренном берегу дороге все выше и выше, все круче и круче. А вокруг, раздвигая каменный занавес оврага, разворачивалась никогда не надоедавшая нам панорама: медное, извивающееся тело Днестра, рассечённое узким лезвием моста, белоснежные громады известкового карьера, под которыми висят серые облака взрывов, просвечивающие сквозь густую зелень синие и белые коробочки домов, тонкая блестящая нитка железной дороги на дне оврага.

Но вот машина тяжело перевалила через последнюю кручу. Четырёхсотметровый подъем остался позади, и мы въехали на коренной берег.

Саша заметно повеселел, да и машина легко и быстро покатила по ровному плато среди кукурузных и табачных полей.

Затем ландшафт снова изменился. Низкие, пологие холмы, узкие лоцины, разбегающиеся в разные стороны и снова слипающиеся друг с другом. Слева показался темно-зелёный Алчедарский лес. Он плавно спускался с холмов к полевой дороге. Видна была густая тень под кронами вековых дубов и буков. От этого, казалось, стало прохладнее. Повеяло свежестью и острым, горьким запахом опавшей листвы. Даже сам воздух, такой безжизненно раскалённый, пыльный, нейтральный на берегу, стал пахучим, плотным и ёмким.

Неяркая, неброская красота. Мягкие переливы зелени от светлых тонов молодых стеблей кукурузы, изумрудных виноградных кустов до чеканной тёмной дубовой листвы.

Городище возникло внезапно. На мысу у слияния двух лощин показался крутой изгиб вала, мощным кольцом огибавший плато. Оно сразу преобразило все вокруг. Оно наполнило эту тихую долину гордой памятью тысячелетий, придало смысл всему окружающему.

Машина почти у самого подножия городища резко свернула влево и вверх к лесу. Здесь, среди молодых деревьев опушки, у высокой мачты с флагом экспедиции раскинулись палатки, под навесом дымила лагерная кухня, стояли алюминиевые столы архитекторов и чертёжников, длинный обеденный дощатый стол, окружённый брезентовыми стульями и лавками...

Такая знакомая до мельчайших деталей картина, и всё же каждый раз, когда я возвращался в Алчедарский лагерь, радостное предчувствие охватывало меня.

Лагерь жил обычной жизнью. Пока Витя и Павел разгружали бутылки с муравьиной, серной и соляной кислотами, банки с едким натром и другие припасы для нашей походной лаборатории, я пошёл к городищу посмотреть, что нового на раскопках. У подножия вала тонкой струёй лилась и лилась чистая, холодная родниковая вода. Она лилась так, наверное, уже много сотен лет, и древние обитатели городища, как и мы сейчас, пили эту воду. Только тогда вода не была заключена в железную трубу, да не стоял возле родника монумент из красного гранита с надписью: «Славянское городище Алчедар. Находится под охраной государства». Впрочем, монумент был поставлен только два года назад, когда наши раскопки позволили определить, какой это ценный памятник.

Возле родника две девушки мыли обломки древней керамики. Вымытые фрагменты сушились в тени на листах фанеры. Я поздоровался.

Русоволосая Ленуца, с притворной скромностью опустив глаза, спросила:

— Георгий Борисович, почему у Павла Петровича сегодня такая плохая керамика?

— Чем плохая, Ленуца?

— А вот раньше на всех раскопах была красивая с полосочками, и у Павла Петровича тоже. А сегодня у него какие-то кособокие горшки, толстые. Прямо мыть не хочется. Все в трещинах. А обожжены-то как! Будто их не гончар, а пьяный орарь в печи жё!

Соня, проворно мывшая керамику рядом с Ленуцей, прыснула, покраснела и закрыла лицо рукавом. А Ленуца сохраняла невозмутимую серьёзность. Я осмотрел черепки и ответил:

— Да, ты прямо открытие сделала! Эти горшки действительно изготовил не гончар, а простой крестьянин. Только не пьяный, а неумелый. Он лепил их руками, а не формовал на круге. И обжигал действительно в обычной печи, а не в горне. Это потому, что, когда он жил, ещё не было гончаров.

Выходит, что люди здесь поселились лет на двести — триста раньше, чем построили городище. Вот в десятом веке, когда городище построили, тогда уже всю посуду делали гончары. Это ты молодец, что заметила разницу в посуде.

Когда и поднимался по крутому склону вала, только что кончился пятиминутный перерыв. На гребне показался Георгий. Вытянув вперёд правую руку, он крикнул: «Сус!» («Наверх!») По этой команде человек тридцать обнажённых по пояс, загорелых здоровяков поднялись на насыпь вала и стали на квадраты.

— Георгий Борисович! — Увидев меня, закричал Георгий. — Вал прорезан на глубину почти

пять метров. Скоро подойдем к основанию насыпи.

— Что в насыпи?

— Пока никаких конструкций. Вообще почти ничего нет. Только отдельные фрагменты древнерусской керамики.

— Сейчас особенно важен каждый фрагмент, — сказал я, поднявшись на гребень. — По фрагментам, которые будут найдены в нижней части основания насыпи, можно будет определить время сооружения вала.

— А я вам говорю, — запальчиво отозвался Георге, — сейчас каждый фрагмент нужно смотреть. По тем, которые найдем в подошве, будем знать, когда городище построено!

— Да, да! — Поспешно ответил я. — Ты совершенно прав.

Удовлетворенный, Георге спросил:

— Сколько человек могло жить на городище?

— Трудно сказать. Судя по размерам плато и по открытым жилищам, — человек двести—триста, не больше.

— Ну и пришлось же им попотеть, чтобы такой вал насыпать. Да ещё вокруг ров выкопать! Вот мы уже два месяца роем, а все никак узенькую траншею не пробьем!

Это и в самом деле было странным. Чтобы с техникой IX—X веков соорудить такой вал и ров, нужны были не десятки, а тысячи рабочих рук. Неужели все ближайшие славянские поселения, открытые нами, находились на расстоянии шести — восьми километров от городища?

Допустим, что вал возводили жители этих поселений. Но тогда в случае нападения врагов им не удалось бы воспользоваться плодами своих трудов. Пока они добирались бы к городищу под защиту вала, враг настиг бы их десятки раз. Кто же строил? Основным тружеником в то время был свободный общинник... Но тогда... где они жили?

С гребня вала хорошо были видны большие прямоугольники раскопов, разбитых колышками на квадраты.

Павел Петрович Бырня уже успел встать на свой раскоп.

— Смотрите, Георгий Борисович, — сказал он, разворачивая пакеты с находками, — пока мы с вами ездили, Таня тут такое открыла! Угадайте что?

Таня, помощница Павла, — студентка третьего курса, застенчивая тоненькая девушка — бросила на своего начальника неодобрительный взгляд и покраснела. Я для пущего эффекта выждал несколько секунд, изображая мучительное раздумье, и, наконец, сказал:

— Сдается мне, что Таня открыла лепную славянскую керамику шестого—седьмого веков. Значит, славяне поселились здесь ещё задолго до сооружения городища.. Так?

— Так! — С изумлением ответил Павел. — А откуда вы узнали?

— Плохо подбираете кадры, товарищ Бырня, — ответил я. — Среди ваших рабочих завелись предатели. Ленуца Цуркан заметила, что изменилась керамика, и очень точно описала лепные горшки. Так—то вот. А ты обрати внимание на эту девушку. Она очень наблюдательна. Может археолог получится.

— Один — ноль в вашу пользу, — приуныв, ответил Павел, но тут же воспрянул духом. — Тогда посмотрите, что мы ещё нашли в этом слое.

И, взяв у Тани планшет, показал мне план пласта. На нем среди других названий я увидел название удивительной находки: византийская бронзовая монета VI века. Глубина 168 сантиметров. Вот это да! Монета даст возможность определить время всего слоя с точностью до нескольких десятков лет. Эта монета чеканена, видимо, при императоре Юстиниане. Она мало потёрта. Ну, некоторое количество лет могло пройти, прежде чем она попала из Византии в Алчедар. А все же это произошло именно в VI веке. Вряд ли бронзовую монету могли специально беречь столетиями. А кроме того, это хотя и единичное, но указание на связи жителей Поднепровья с Византией уже в VI веке!

Ну что ж, посмотрим, что будет дальше в этом слое...

Стенки раскопа Иона Георгиевича Хынку безупречно вертикальны, дно ровное, как паркет. На дне зачищена полоса из грубо обитых известняковых камней, ограничивающая замкнутый прямоугольник площадью метров в двадцать. Возле одной его стороны продолжалась расчистка груды обожжённых камней и глины — остатков печи. Ион Георгиевич поздоровался, протянул мне наковаленку, молоточек, клещи, несколько пробойников, зубильца. Все они были удивительно маленькие, как игрушечные.

— Набор инструментов ювелира, — спокойно сказал Ион. — И дата точная. Судя по керамике — десятый век.

Ещё два года назад мы нашли на городище мастерскую тоже с набором таких же миниатюрных инструментов, да ещё с тигельком для плавки серебра и бронзы, нашли серебряную проволоку, несколько готовых и ещё не законченных браслетов и другие украшения. Вот и второй ювелир на городище...

Когда я уходил с раскопа, Ион вместе со своими рабочими, среди которых было много ещё совсем юных школьников и школьниц из окрестных сёл, саперными лопатками, ножами и кистями расчищали каменную отмостку стен мастерской ювелира. И он короткими, точными движениями снимал тоненькие пластики земли и одновременно что-то говорил помогавшему ему рабочему Петре — вихрастому пареньку в синей рубашке с белыми горошинами.

Что же, Ион, ты сам начинал так. Ты сам учился в этой же сельской школе, может быть, сидел именно за той изрезанной, облупленной партой, за которой теперь сидит Петре. И может быть, Петре, как ты сейчас, пройдя долгий и трудный путь, станет кандидатом исторических наук, одним из лучших археологов Молдавской академии и нашей экспедиции...

После обеда Витя дал мне очищенную византийскую монету. Она теперь блестела как новенькая, изображения и надписи были отлично видны. Да, это фоллис Юстиниана, чеканенный в 536 году вторым монетным двором в Константинополе.

— Нормально! — Похвалил я Витю. — Очень важная находка, и ты как нужно её очистил.

— Да. Очень важная, — как-то странно ответил Витя.

— Что с тобой? — Удивлённо спросил я.

— Да так, ничего, — махнул рукой Витя, — просто едим натром в лаборатории надышался. Железа много варил.

— Может, полежишь?

— Да нет, перебуюсь, — все также странно ответил Витя.



Я знал этого удивительно правдивого весёлого юношу ещё с того времени, когда он учеником шестого класса впервые пришёл в пашу экспедицию и стал рабочим. Знал и студентом, и теперь, когда он уже археолог с высшим образованием, работаю с ним вместе. Мне всегда казалось, что мы с ним очень близки и откровенны. А тут вдруг появилась у него какая-то отчуждённость, чуть ли не враждебность. С трудом подавив желание расспросить, в чем дело (сам расскажет), я сказал:

— Пойдем к столу. Есть интересное сообщение.

Все археологи отряда, а также паши архитекторы, художники и другие сотрудники уже сидели за длинным столом.

— Сегодня обсуждение полевых дневников, чертежей и находок отменяется. Обсудим завтра, — начал я. — Дело в том, что Президиум Молдавской академии утвердил наше совещание с румынскими археологами. Оно начнётся через две недели — восемнадцатого августа, здесь, в Алчедарском лагере. Предложено провести его не просто как совещание, а как первый советско-румынский семинар по археологии.

Георге радостно воскликнул:

— Вот это здорово! Международный семинар в нашем лагере!

— В семинаре примут участие все румынские товарищи, работающие у нас в экспедиции, — продолжал я, — пригласим сотрудников кишинёвских и одесских музеев. Приглашительные билеты, отпечатанные в типографии академии, уже готовы.

— Почему же их так много? — Удивлённо спросил Павел. — Тут сотни две, не меньше!

— Да так, отпечатали с запасом.

— Зачем пропадать билетам? — Вмешался Георге. — Давайте разошлем их в разные археологические учреждения и музеи. Чем больше приедет людей, тем интереснее.

— А что, если все приедут? — Осторожно спросил Ион.

— А я тебе говорю, что не приедут, — тут же завелся Георге. — Сейчас август — разгар полевого сезона. Все на раскопках. А билеты разошлем для информации и в знак уважения к нашим коллегам.

Большинство поддержало его. Решили разослать все билеты. Выбрали докладчиков. Наметили программу подготовки к семинару.

Все последующие дни, помимо работы по раскопкам, готовились к докладам.

И вдруг начало происходить нечто в высшей степени неожиданное. Из различных городов в ответ на разосланные нами приглашения стали приходиться благодарственные телеграммы с сообщениями о приезде. Сначала мы очень обрадовались — семинар обещал быть весьма представительным. Когда телеграмм оказалось тридцать, стали беспокоиться, а когда количество их перевалило за восемьдесят, пришли в ужас.

Я срочно вызвал всех начальников отрядов, и совет экспедиции стал бурно обсуждать создавшееся положение. А положение было незавидным. Мы подсчитали, что вместе с сотрудниками экспедиции, археологами из Румынской Академии наук, работавшими в наших отрядах, и принявшими наши приглашения лицами на семинаре окажется около полутора ста археологов. Палаточный Алчедарский лагерь, раскинутый в лесу, не был приспособлен для такого количества людей. О перенесении семинара в Кишинёв нечего было и думать. Для этого у экспедиции не было средств. Георге, командированный нами к Кишинёв с просьбой о

помощи, привез оттуда молдавское и румынское знамёна и с десяток художественно выполненных на кумаче лозунгов на русском и румынском языках, вроде: «Бине аць венит!» — «Добро пожаловать!» Знамёна подняли на импровизированных флагштоках рядом с экспедиционным флагом, лозунги развесили на территории лагеря между деревьями. Но от этого наше положение не стало более лёгким.

Отступить было некуда. В Алчедарский лагерь были вызваны все отряды экспедиции вместе со своими поварами, стянуты все автомашины. Повара под руководством нашего старейшего шофёра Гармаша трудились, сооружая дополнительные печи, и колдовали над «международным» меню. Таня, Витя и Павел привезли из ближайшего интерната (благо были каникулы) сто кроватей, одеяла, простыни, подушки. Ион из той самой сельской школы, где он когда-то учился, добыл столы, стулья, скамейки, грифельные доски, которые мы решили использовать под стенды. Поставили пятьдесят палаток. Георге из районного центра вернулся во главе целого каравана. За его машиной катили на передвижных автолавках, удивлённо обозревая будущее поле деятельности, продавцы и буфетчики.

А раскопки городища не прекращались. Окончательно была расчищена мастерская ювелира. Там было найдено много изделий, куски медной и серебряной проволоки. На новом раскопе у Павла показались остатки мастерской оружейника, в которой были найдены различные стрелы, ещё недоработанный до конца меч, пластины от железного доспеха, инструменты...

Как могли, подготовились мы и к открытию семинара.

И вот наступил вечер перед открытием. После того как были отданы последние распоряжения, проведена последняя проверка, я поднялся на вал городища и присел отдохнуть. На противоположном склоне лощины, где находился лагерь, зажигали фонари и лампы. Между острыми, геометрически точными силуэтами палаток и причудливо изогнутыми деревьями то здесь, то там мелькали огоньки. Вечерний туман рассеивался, на вольный разлив алчедарской долины мягко спускалась спокойная тишина...

Первый раз я увидел эту долину много лет назад, в 1950 году. Этому предшествовали и к этому привели долгие раздумья и поиски...

В древнейшей русской летописи «Повесть временных лет», составленной в XII веке в столице древнерусского государства — Киеве, перечисляются четырнадцать восточнославянских племён, из которых образовалась древнерусская народность. Совершенно ясно, как важно изучить каждое из этих племён — то слагаемое, из которых была создана Русь, её государственность и культура. В летописях о каждом из этих племён сказано немного, но изучены они почти все относительно неплохо. Важнейшую роль в этом изучении сыграла археология. Так как летописец обычно связывал места поселения племён с определённой рекой, то нам, археологам, было от чего оттолкнуться в начале своих поисков. И вот удалось открыть поселения и могильники восточнославянских племён, установить, что летопись совершенно правильно указывала районы размещения, что для каждого племени были характерны только ему присущие формы женских украшений и некоторых других изделий, изучить их культуру, проследить процесс слияния этих племенных культур в одну общерусскую. Это удалось сделать почти для всех восточнославянских племён.

Почти для всех, но не для всех. Поселения и могильники самого западного из них — тиверцев, несмотря на многие усилия, которые предпринимались ещё с 1837 года, открыты не были. И в летописи о них почти ничего не сказано. Летописец сообщал, что поселения тиверцев простирались по Днестру, доходя на запад до Дуная, а на юг — до Чёрного моря, что вместе с киевскими князьями тиверцы совершали дальние походы на столицу Византийской империи — Константинополь. У них, как писал летописец, «и до сего дне», то есть до начала XII века, когда составлялась «Повесть временных лет», имелись города. Но это и все. А ведь изучить тиверцев было особенно важно. Они были юго-западным

форпостом Древней Руси, через их земли проходили пути, связывающие Русь и с Византией, и с западными и южными славянами, и с другими юго–западными соседями.

Где, когда и как они жили, какова была их культура, их историческая судьба? Какое отношение имеют они к теперешнему населению большей части Поднестровья — молдаванам? На все эти и другие интереснейшие вопросы ответа не было.

Почти каждый русский историк, писавший о времени образования древнерусского государства, говорил о том, как важно найти археологические памятники тиверцев. Однако все поиски неизменно оказывались неудачными. В трудах учёных стали проявляться сомнения и скептицизм. Одни утверждали, что летописец ошибся, что тиверцы либо вообще не жили на Днестре, либо были здесь лишь кратковременными пришельцами, не оставившими никакого следа. Другие почему–то утверждали, что тиверцы были скифами, тюрками, даже немцами–тюрингами, конгломератом различных племён — словом, кем угодно, но только не славянами. Бесплодные споры о тиверцах в Российской императорской Академии наук даже послужили известному поэту Аполлону Майкову материалом для острой и злой сатиры.

В конце концов, за тиверцами в науке прочно закрепился эпитет «загадочные», поиски были прекращены, а вся проблема тиверцев отнесена к разряду интересных, важных, но практически неразрешимых...

Мысль о том, что эта проблема все–таки разрешима, появилась у меня не случайно. Когда археологи имели возможность проверить показания летописца о расселении того или иного славянского племени, эти показания оказывались удивительно и неизменно точными. Почему же свыше десяти раз они были точны, а только для тиверцев не точны? Кроме того, эти сведения, хотя и очень краткие, были вполне определённые. И район поселения их указывается совершенно ясно, и в походе князя Олега в начале X века на Константинополь тиверцы, по сообщению летописца, принимали участие лишь как союзники киевского князя, а в походе его преемника князя Игоря в середине X века — уже как часть основного русского войска. О городах тиверцев в летописи тоже говорится вполне определённо.

Да и не только в русской летописи.

Факты накапливались медленно, но они не противоречили друг другу, а подтверждали друг друга.

Во второй половине IX века безвестный монах одного из баварских католических монастырей составил описание европейских племён и народов. Его труд чудом сохранился до наших дней. Ныне он находится в Мюнхене. Из кельи своего монастыря, расположенного где–нибудь на лесистом горном склоне, монах смотрел зорко и видел далеко. Упомянув различные племена и народы, мюнхенский аноним давал им краткую, но очень выразительную характеристику. Впрочем, ему, ревностному католику, все люди, не признающие власти папы, представлялись врагами и исчадиями ада. Среди других упоминает монах и славянское племя тиверцев. На своей варварской латыни он называет тиверцев «популюс ферициссимус» — «свирепейший народ» и говорит, что у них было сто сорок восемь городов.

На сто лет позже, в середине X века, Византийская империя переживала последний период своего блестящего расцвета при императорах Македонской династии. Но третий император этой династии — Константин Багрянородный, вступивший на престол ещё шестилетним мальчиком, до конца своей долгой жизни практически не занимался управлением государством. Борьбу с многочисленными и могущественными врагами империи — болгарами, руссами, арабами, корсарам, германцами, дикими ордами печенегов — он передоверил решительному и смелому воину Роману Лекапину. А держать в узде

разноплеменное, разноязычное население империи, состоявшее из двадцати национальностей, объединённых только одним зыбким принципом — «один император, одна вера», он поручил побочному сыну Лекапина — камергеру Василию. Сам император, облечённый божественной властью, ничем не ограниченный владыка мировой империи, совсем в другом видел своё призвание. Суётным тревожностям власти, почестей и интриг он предпочёл занятия наукой, служению которой посвятил всю свою сознательную жизнь. По его инициативе была создана гигантская «Византийская энциклопедия», состоявшая из пятидесяти трёх томов; его собственные работы, посвящённые различным этапам истории страны, до сих пор служат ценнейшим источником знаний для всех историков Византии. Самый знаменитый труд Багрянородного — его трактат «Об управлении государством».

Военной мощи империи не хватало, чтобы отражать нападения могущественных и разнообразных врагов. Византийцы, как никто другой, умели лавировать между многочисленными народами, окружавшими империю, натравливать их друг на друга, предавать вчерашних союзников и подкупать врагов, побеждая в равной мере и силой оружия, и хитросплетениями непревзойдённой дипломатии.

Но, чтобы побеждать соседние народы, их, прежде всего, нужно было знать, и знать хорошо. Багрянородный их знал. Он хотел передать свои знания и своё искусство своему сыну Роману — преемнику на троне. В трактате «Об управлении государством» тонкие и умные советы дипломатического, военного и административного характера перемежаются с точным описанием различных народов и племён, которые входили в круг интересов империи.

«Многолюбимый сын», как называл его Константин, не воспользовался отцовской мудростью. Бездарный прожигатель жизни, Роман во время своего недолгого четырёхлетнего правления предавался только безделью и кутежам. Но труд Багрянородного не пропал даром. Уже свыше тысячи лет историки многих стран изучают трактат «Об управлении государством», находя в нем все новые и новые интереснейшие данные.

Среди других племён в нем упоминаются и тиверцы — славянское племя, подвластное великому князю киевскому — главе государства руссов. Кроме того, Багрянородный сообщает, что на правом берегу Днестра в его низовьях, в пределах территории, захваченной недавно печенегами, имеется шесть опустевших городов, в которых жили христиане, по его мнению, возможно, ромеи — византийцы.

В начале XII века о тиверцах и их городах на Днестре сообщал русский летописец. Около ста лет отделяют сочинение неизвестного баварского монаха от трактата блестящего византийского императора.

И снова славянские племена тиверцев, и снова города... Нет. Это не случайно!

Сохранился и другой замечательный документ — «Список городов русских дальних и ближних», составленный в XIV веке.

Четырнадцатый век... Некогда могущественное древнерусское государство давно уже распалось на отдельные феодальные княжества. Русь, окровавленная, ограбленная, униженная беспросветным столетием татарского ига, тяжело страдающая от иноземных захватчиков, от княжеских междоусобиц. Не только окраинные, но и многие центральные районы её, даже сам Киев, отторгнуты.

Но в памяти народа, в умах лучших сынов его жила мысль о былом единстве и могуществе Руси. Один из таких людей, имени которого не сохранила история, и составил «Список городов русских дальних и ближних». Среди десятков этих городов упоминаются и такие, которые к XIV веку уже не существовали или были захвачены иноземцами.

На Днестре автор «Списка» помещает три древнерусских города: Белый город, или Белгород,

в низовьях Днестра на юге (это и поныне существующий Белгород–Днестровский), Хотин — в верховьях Днестра на севере (он также существует и поныне), а между ними — Черн, или Черный город. Но ведь в XIV веке территория между Хотинем и Белгородом уже давно была оторвана от Руси. Значит, Черный город, Черн, во всяком случае, как русский город, существовал до XIV века, может быть, во времена тиверцев, и безусловно на их территории. Где же он? Уже десятки лет его ищут учёные, о его местоположении высказано множество гипотез. Например, что Черн — это нынешние Черновицы. Но эта гипотеза не годится. Во–первых, Черновицы расположены не на Днестре, а на Пруте, а во–вторых, не между Белгородом и Хотинем, а выше Хотина. Черн находится где–то в Молдавии, на древней земле тиверцев. Но где? Во всяком случае, он существовал, и память о нем, как о русском городе, сохранялась и в XIV веке.

Почему же безуспешными были поиски поселений тиверцев? А как их искали? Чтобы выяснить это, пришлось прочесть много опубликованных работ, изучить много архивов, в том числе архив бессарабского генерал–губернатора за 1837 год, когда впервые была сделана на территории Молдавии попытка отыскать славянские древности.

Вот какой получился вывод: тиверские поселения искали там, где их никогда не было и не могло быть.

Выражение летописца «седяху по Днестру» завораживало ищущих. Его понимали буквально — на самых берегах Днестра. Однако высокие берега Днестра, во многих местах скалистые и при современной технике не везде пригодны для земледелия, а тогда — много сотен лет назад — и подавно. А славяне, сколько их знает история, — исконные земледельцы. Зачем же они стали бы здесь селиться? Кроме того, пойма Днестра служила более или менее удобной, во всяком случае, наиболее удобной в Среднем Поднестровье, среди густых лесов, дорогой для кавалерии кочевников. А ведь именно с конца IX — начала X века и начался напор кочевников от причерноморских степей на север, вверх по Днестру.

Да, выражение летописи «седяху по Днестру» следует понимать не буквально — на Днестре, а так, как подобные выражения понимаются и сейчас, — в Поднестровье, как, скажем, «на Волге» значит «в Поволжье».

И искать поселения тиверцев — мирных земледельцев — следует в местах, обладающих лучшими условиями для естественной защищённости и маскировки, для земледелия и скотоводства. Изучение исторической географии Поднестровья показало, что такие места находятся на территории современной Молдавии, в лесостепной полосе, на мелких и мельчайших притоках Днестра, среди лесов и холмов, в сильно пересеченной местности, в центральных и северных районах республики.

Поиски славянских тиверских древностей в Поднестровье следовало снова внести в план научно–исследовательской работы. Но это оказалось не так просто. Я с благодарностью вспоминаю старших товарищей, поддержавших меня, и прежде всего выдающегося слависта–археолога Петра Николаевича Третьякова. Теперь уже со спокойной улыбкой вспоминаю и скептиков, обвинявших меня в попытке затеять безнадежное предприятие, в аванюре.

Это была нелёгкая борьба. Скептицизм настолько укоренился, что даже два славянских поселения, открытые на территории Молдавии, не связывались с летописными тиверцами и не изучались.

Наконец я получил право сделать попытку отыскать тиверские поселения, небольшую сумму денег на разведочную экспедицию и автомашину.

Я отчётливо представлял себе, чем может кончиться для всей этой проблемы и для меня неудача...

Я вспомнил, как, переправившись через Днестр и впервые попав на территорию Молдавии, я с ужасом переглянулся с Ростиком, моим товарищем по экспедиции, старым другом, который был со мной в этом рискованном предприятии. Я ужаснулся оттого, что не понимал археологического ландшафта и рельефа. Попав в совершенно непривычную обстановку, я не мог понять, где здесь тысячу лет назад могли жить люди, что легко определял на территории многих областей России. Но отступать было глупо, да и незачем. Я вспомнил, как были открыты первые из сорока трёх в этом сезоне тиверских поселений на мелких и мельчайших притоках Днестра, как с понятным волнением рассматривал я тиверскую посуду и другие изделия, точно такие же, как и в центральных районах древнерусского государства...

Сидя на валу Алчедарского городища, я, наверное, сильно углубился в воспоминания, потому что не заметил, как рядом со мной оказался Павел, и увидел его только тогда, когда он положил мне руку на плечо и спросил:

— Не спится, Георгий Борисович?

— Да. И тебе не спится?

Павел ответил не сразу:

— Знаете, о чем я сейчас думал? О нашем первом Алчедарском лагере. Три маленькие двухместные палаточки под ветвями вон того дуба — и первые славянские вещи, найденные на городище. Такие неказистые, поржавевшие. А у нас при виде этих находок дух захватило. А помните нас, ваших учеников, тогда? Я и Юра уже студентами были, а Витя и другие — ещё школьниками?

— Как же, помню, — прервал я его насмешливо. — Помню и твой первый дневник. В нем было указано как ориентир: городище находится возле одинокой груши, к которой привязана коза.

— Ах, вот как! — Парировал Павел. — А ваше полцарства за городище?..

— Мне сегодня об этом Георге напомнил, а я ему помянул его шпионско-диверсионную деятельность...

Это тоже случилось в первый год. По только что открытым древнерусским поселениям мы уже установили, что укрепленные городища обычно находятся в центре целого гнезда неукрепленных поселений. И вот мы нашли группу таких неукрепленных тиверских поселений, но никак не могли найти городище. Самым тщательным образом, концентрическими кругами прошли мы разведкой вокруг того села, где остановились. А городище все не находилось. Это было очень обидно и непонятно. Скрывая досаду, я объявил, что премирую того, кто найдет городище. Георге осведомился, какая будет премия. Я а шутку ответил:

«Полцарства за городище».

Через пару дней, как-то утречком, Георге неожиданно сказал мне:

«Полцарства — это слишком много и неопределенно. А пол-литра дадите за городище?»

«Дам, дам, — сердито ответил я. — Ты раньше найди».

Георге тут же встал, повел меня за собой и у самой окраины села показал мне открытое им городище. Пришлось выполнить условие. Но, главное, обидно было, что городище-то находилось под самым носом, а мне это и в голову не приходило. И ещё обидно было, что Георге меня так ловко провел. Я решил отомстить, и скоро случай представился.

Однажды, когда мы разбили лагерь на берегу Днестра, Георге отправился на другой берег в разведку. Он был облачён и снаряжён так, как, по его тогдашнему представлению, следовало быть облачённым и снаряжённым истинному археологу: полувоенный костюм со множеством застёжек—молний, оплечь жёлтый кожаный планшет, полевая сумка, фотоаппарат, на груди — полевой бинокль, на поясе — финка.

Прошло часа три—четыре после его ухода, как вдруг Павел, который пошёл на Днестр за водой, прибежал с довольно озадаченной физиономией и закричал:

— Георгий Борисович, идите скорее на берег! Вас Юра зовет!

— Что случилось? Почему он сам не идёт?

— Да его не пускают! — Давясь от смеха, сказал Павел.

Я поспешил к Днестру и увидел на другом берегу Георге, по обе стороны которого стояли два дюжих молодца с охотничьими ружьями.

Увидев меня, Георге закричал через реку:

— Подумайте, Георгий Борисович! Эти дураки — сторожа с баштана — меня за диверсанта приняли! Объясните им, кто я такой.

Ага, вот в чем дело! Газеты тогда часто сообщали о поимке разных шпионов. Недавно такое сообщение было и в молдавских газетах. А пышное снаряжение Георге и навело сторожей на мысль, что он диверсант. Ну и поделом — не будь пижоном!

— Что же вы не отвечаете?! — Надрывался Георге.

— А может быть, ты и вправду шпион, Георге? — Прокричал я.

— Что?! Что?! — Возопил не поверивший своим ушам Георге.

— Мо—жет быть, ты и впра—вду шпи—он! — Раздельно повторил я. — Зна—ешь, в на—ше вре—мя ни за кого нельзя ру—чать—ся!

— Да как вам не стыдно! Это же безобразие! — Возмущённо кричал Георге.

— Не слышу! Не понимаю, что за слово ты сказал. Повтори по буквам! — Ответил я.

— Безобразие! Борис, Елена, Зоя, Ольга!.. — Не своим голосом завизжал через реку Георге и вдруг, обернувшись, махнул рукой и показал мне кулак.

Дело в том, что, как только мы начали переговариваться, сторожа, смущённо помявшись, тут же молча ушли, а Георге в азарте нашей полемики этого и не заметил.

Мы с Павлом посмеялись над забавными происшествиями первого сезона работы экспедиции, а потом вспомнили следующий сезон и раскоп Екимауц — небольшого, хорошо укрепленного городища, прикрывавшего доступ к Алчедару с юга, со стороны причерноморских степей. Это были удивительные раскопки. Когда мы сняли верхний дерновый покров, то на всем плато увидели уголь, золу, развалины сожжённых жилищ, скелеты людей и лошадей в самых неестественных позах. Из позвонков их мы вынимали застрявшие там железные наконечники копий и стрел. Скелеты лежали и под развалинами сгоревших деревянных срубов — городен, кольцом окружавших плато городища по гребню вала. Перед нами открылась картина мирного труда, внезапно нарушенного нападением врагов, картина гибели в огне пожара и неравной битве жителей этого городища. О силе огня, бушевавшего в последние часы жизни на городище, свидетельствовало многое, например

растрескавшиеся от нестерпимого жара огромные известняковые жернова и миниатюрные изящные сердоликовые бусины; об ожесточении битвы — скелеты погибших людей, которые мы находили не только на валу и плато городища, но и среди развалин жилищ, а также сотни стрел, копья, боевые топоры, кистени, сабли, булавы и другое оружие.

Вот у входа в жилище и мастерскую кузнеца лежит скелет мужчины с подогнутой под спину левой рукой. Череп его раздроблен. Рядом — железный боевой топор с узким и острым лезвием. В самом жилище — женский и детский скелеты. Здесь погибла семья кузнеца. Внутри жилища мы нашли наковальню, молот, клещи, напильник, зубило и другие орудия труда кузнеца, железный нож от плуга — чересло, ещё не законченные, не откованные полностью ведёрные дужки. Уцелел даже горшок с просяной кашей. Каша обуглилась в огне пожара и потому сохранилась до наших дней.

Серебряный продолговатый слиток, русская монета — гривенка и серебряные среднеазиатские монеты — диргемы, бывшие тогда в большом ходу на Руси, позволили точно определить, что роковая для жителей городища битва произошла в первой половине XI века. По типам стрел и другого оружия мы установили, что на городище напали кочевники–печенеги, продвигавшиеся тогда из Поднестровья к Дунаю. Богатый, развитый ремесленный и торговый город перестал существовать в течение нескольких часов. Ничто или почти ничто из него не было вынесено, все осталось на тех самых местах, на которых находилось, когда разразилась катастрофа.

Трагедия, разыгравшаяся на этом городище девятьсот лет назад, была величайшей удачей для археологов. Мы получили бесценный по своей разносторонности и выразительности материал, по которому можно было судить обо всей материальной культуре и хозяйстве древнерусского населения Поднестровья. Мы имели в своих руках все орудия труда, от тяжёлых молотов до волочила — сложного инструмента для изготовления проволоки из серебра и бронзы, все виды оружия и бытовых предметов, все типы украшений — от изящных наборных серебряных серёг в виде виноградной грозди до различного вида бронзовых перстней, браслетов и стеклянных бусин. Мы могли воочию увидеть и тот общерусский характер, который имела культура славян Поднестровья, и те ее черты, которые были характерны именно для тиверцев. Это были удивительные раскопки, которые определили для многих принимавших в них участие студентов дальнейший жизненный путь.

А теперь восемь отрядов экспедиции изучают археологические памятники Молдавии от времён античности до позднего средневековья, а бывшие рабочие и практиканты стали настоящими археологами, умелыми руководителями отрядов, и Павел Бырня далеко не последний из них...

— Пора спать, Павел, — с трудом оторвавшись от воспоминаний, сказал я. — Завтра утром начнётся большой день.

Павел встал и спросил:

— А вы?

— Я ещё посижу. Хочу подумать о своём докладе.

После ухода Павла я действительно стал обдумывать доклад на семинаре. Уже несколько лет, как Алчедарское городище — один из главных, если не главный объект работы экспедиции. Естественно, что доклад, посвящённый итогам его раскопок, будут ждать с большим интересом. А то, что семинар будет работать у самого подножия городища, ещё больше подогреет этот интерес. Доклад должен не обмануть ожиданий. А готов ли я к этому? Не как статистик, не как полевой археолог, сообщающий отчётные данные, а как историк, умеющий на основе анализа тысячи фактов воссоздать реальную картину жизни давно ушедших людей, понять законы развития этой жизни, её основы? Раскопана уже



значительная часть городища, а далеко не все ещё ясно. Я попытался представить себе, как сотни лет назад в эту же ночную пору, здесь, на валу, стоял за дубовым забором часовой. За его спиной только маленькая горсточка людей. И вокруг непроглядная темень, из которой каждую минуту могут нагрянуть непрошенные гости. На помощь надежда плохая — пока ещё подспеют люди, живущие за десятки вёрст отсюда, в деревнях... Да, нелегко ему было...

Впрочем, и у меня не всё просто. Столько сделано замечательных находок, а всё вместе как-то не складывается. Непонятно даже, что же это в общем за городище? Неужели и русский летописец, и баварский аноним называли именно эти маленькие укрепленные поселения городами? Но, может быть, мне это кажется странным только из-за невольного сопоставления с современными городами? Город... А ведь и таинственный Черн, Чёрный город, потерянный сотни лет назад, тоже должен находиться где-то здесь, поблизости. Уж не сию ли я на его валу? Для этого есть некоторые основания. Впрочем, хватит фантазировать. Это маленькое, сто метров в диаметре городище — скорее всего, просто одно из пограничных укреплений древнерусского государства. Ну, хорошо. Допустим, что так. Но не излишняя ли тогда роскошь на маленьком пятачке, где все должно быть подчинено обороне, заводить две ювелирные мастерские? Да, далеко ещё не все ясно.

Вдруг совсем близко я услышал негромкие, знакомые голоса. Что за черт! Оказывается, далеко не я один не сплю в эту ночь.

— Ваня, я хочу уйти! — Пробормотал Витя.

— Куда, на озеро, что ли, искупаться? — Лениво спросил Ион.

— Нет. Ты меня не понял. Совсем уйти из экспедиции. Пойду работать на завод. Кем угодно. Чернорабочим.

После довольно долгого молчания Ион спросил:

— Почему?

В ответ послышалась страстная, бессвязная речь Вити:

— Понимаешь, это очень здорово — то, что мы делаем. Это чёрт знает как интересно — открывать все время новое и новое. Но жизнь, настоящая жизнь проходит мимо. Что мы ей даем, этой жизни? Люди строят дома и спутники, люди готовятся к полёту на Луну, люди пишут книги о нашем времени, снимают фильмы. А мы что? Для нас все это только в свободное время. Мы только зрители нашего времени, нашей собственной жизни!

— Ты что же? Восьмой год работаешь в экспедиции, а до сих пор не знаешь зачем? — с недоумением спросил Ион.

— Только не вздумай читать мне лекцию о значении археологии, — раздражённо отозвался Витя. — Это все я и без тебя знаю. А вот лучше подумай: мы изучаем Алчедарское городище. А ведь его могли изучать сто лет назад, могли бы, если бы не мы, изучать и ещё через сто лет. Не к спеху. Все равно ничего б не изменилось. А вокруг спешат, стараются сказать, сделать то, что сейчас, именно сейчас до зарезу нужно людям. Понял?

— Вот ты о чём, — протянул Ион. — Ну, тогда ответь. Нужно было вообще изучать Алчедарское городище?

— Вообще-то, конечно, нужно. Все представление о средневековой истории Молдавии изменилось из-за этого. Но я же не об этом. Ты что, нарочно, что ли, не хочешь понять?

Но Ион Хынку, не отвечая на вопрос, тихо сказал: — А как ты думаешь, если то, что нужно было сделать сто лет назад, нужно сейчас, нужно будет через сто лет, мы с тобой сделали

именно теперь, то чему мы служим? Какому времени, каким людям?

На городище стало совсем тихо, только слышна была рассыпчатая дробь кузнечиков в траве.

— Что ж, молчишь? — После бесконечной, казалось, паузы спросил снова Ион.

— Думаю, — каким-то бесцветным голосом ответил Витя.

— Ну, думай, думай, — с лёгкой насмешкой сказал Ион. — Только не проспи подъем. Сам знаешь — начальнику раскопа опаздывать не к лицу.

Голоса затихли, и я увидел два силуэта: высокий, стройный — Иона и приземистый, широкий — Вити, спускавшихся с вала.

Да... Вот тебе и сильный коллектив! Нет, ещё совсем не время заниматься воспоминаниями... Ещё рановато подводить итоги. Ну что ж, утро вечера мудренее. А Ион дал правильный совет. Он относится не только к начальникам раскопов. Начальнику экспедиции тем более не годится опаздывать к подъёму...

Утро было солнечным и тёплым. На флагштоках развевались знамёна. Лагерь стал нарядным. С самого рассвета на открытие семинара потянулись зрители — жители окрестных сел, которые за годы работы экспедиции успели заинтересоваться археологией. Стали прибывать из Кишинёва и первые машины с участниками семинара. Я развешивал на стендах чертежи и рисунки, когда ко мне подошёл Витя и спросил:

— Георгий Борисович, можно мне и во время семинара продолжать работу на раскопе? Я могу вести раскоп Павлика. А на вечерних заседаниях буду. Ладно?

— А зачем, Витя?

— Да ведь каждый час раскопок приносит все новое и новое. Разве вы не понимаете, как важно узнать скорее все, что только можно, об истории этого города.

— Ладно, ладно. Веди раскоп, — ответил я. — Только не вздумай читать мне лекцию о значении археологии.

Витя пристально посмотрел мне в глаза, но, так ничего и не определив, молча пошёл на городище.

А гости и сотрудники экспедиции всё прибывали и прибывали.

Со своими отрядами приехал мой заместитель Георгий Дмитриевич, Лазарь Полевой, Исаак Рафалович, Володя Андриан...

Румынские коллеги и мои товарищи по экспедиции очень хотели, чтобы в работе семинара принял участие известный учёный Монгайт, мой старый, ещё со студенческих лет друг — Шура. За несколько лет до этого он опубликовал свой объёмистый труд о советской археологии. Эта стоящая книга, написанная обычным для Шуры лаконичным, упругим языком, пользовалась большим успехом и у нас, и за рубежом. Она была переведена и издана многими иностранными издательствами, в том числе знаменитым английским «Пингином».

Что же, участие такого учёного в семинаре — явная польза для дела. Да и мне хотелось повидаться с Шурой.

Я написал ему в Москву с просьбой приехать. «Старик» притащился на своём потрёпанном «Москвиче», ругая на чем свет стоит и меня, и пыльные ухабистые просёлки, и невыносимый

подъём, который ему пришлось преодолеть, чтобы добраться до Алчедарского лагеря.

Когда, поседевший и грузный, вылез он из кабины, в своей обычной, ворчливо–иронической манере отвечая на приветствия сбежавшихся к машине членов экспедиции, я почувствовал, как что–то кольнуло в сердце... Да, далеко ушло то время, когда мы впервые взяли в руки лопаты археологов. Ну, да ничего. Как говорил Остап Бендер, заседание продолжается. А вернее сказать — заседание только начинается. Первое заседание нашего семинара, его открытие.

Так много важных докладов нужно было послушать и обсудить, что семинар, вместо запланированных трёх дней, растянулся на целую неделю. Ведь история Румынии и Юго–запада СССР с глубокой древности связаны между собой.

На городище Витя уже заканчивал свой раскоп. Участники семинара ежедневно рассматривали только что открытые и очищенные от земли вещи.

...Было утро 23 августа — день освобождения Румынии от фашизма. Мы приготовились торжественно отметить этот славный праздник. Распорядителем его взялся быть Георге. Вечером, у костра, мы хотели приветствовать наших румынских товарищей. Запасли для них подарки, которые должны были вручить во время праздничного ужина. Георге настаивал даже на торжественном ружейном салюте. И вдруг пошёл сильный затяжной дождь, совершенно неожиданный для Молдавии в августе. Это была катастрофа. К лагерям археологических экспедиций обычно не ведут бетонированные автострады. Наш лесной лагерь не был исключением. Благодатный, плодородный чернозём за полчаса стал непреодолим даже для вездеходов. Весь наш автотранспорт прочно стал на якорь. Героические попытки шофёров во главе с Гармашем прорваться к ближайшей деревне кончились плачевно. Разумеется, никаких продовольственных запасов на полторы сотни человек в лагере не было, да в такую жаркую летнюю пору их и невозможно было сохранять.

А дождь всё шёл и шёл.

Кое–как хватило припасов на скудный завтрак и обед. А как же быть с торжественным ужином? К вечеру археологи, обычно отличающиеся хорошим аппетитом, щёлкали зубами от голода после урезанных порций завтрака и обеда.

Втайне от гостей руководство экспедиции пересмотрело запасы. В лагере оставался только рис, ни куска хлеба, ни щепотки соли. Правда, был ещё спирт, который мы обычно используем для технических целей. Но сейчас решено было всё, что можно, пустить на ужин. Наступил вечер. К счастью, дождь прекратился, но дороги были так размыты, что отправиться в деревню и думать было нечего. Мы разожгли огромный костёр, вокруг которого уселись участники семинара. Я произнёс приветственную речь. Роздали подарки. Георге с командой волонтеров учинил эффектный ружейный салют. Подняли бокалы с разведённым спиртом в честь наших друзей. Мгновенно исчезли микроскопические порции рисовой каши.

Мы с некоторым страхом думали о том, что делать дальше.

Помощь пришла неожиданно: поднялся со своего места профессор Ясского университета Адриан Флореску. Он сообщил, что у себя в университете дирижирует студенческим хором, и предложил желающим записаться в хор. Успех этой затеи превзошёл, как говорится, самые смелые ожидания. В хор записалось все без исключения население лагеря.

Под умелым руководством Адриана Флореску спевка прошла быстро, и хор начал своё первое публичное выступление. Увы, слушатели отсутствовали. Все были исполнителями, а Георге и Павел даже несколько раз солировали.

Это была довольно фантастическая картина. Тёплая южная ночь, яркие звезды над тёмными

кронами деревьев, огромный костёр и полтораста очень здоровых и очень голодных людей, с большим воодушевлением исполняющих песни на румынском, русском и украинском языках. Особенным успехом пользовалась студенческая румынская песня с лихим припевом:

Юпайдия, юпайда,

Юнайдия, драгостя...

В ней, кстати сказать, трактовалось о преимуществе духовной пищи над пищей телесной. Концерт затянулся далеко за полночь. А под утро грунтовые дороги подсохли, и машины одна за другой выехали в села за продуктами. На другой день семинар возобновился. Пришлось, правда, начать заседание на час позже, чтобы как следует накормить его участников. Для экспедиции в целом трудности с семинаром остались позади. Но меня ждала новая, и на этот раз непреодолимая трудность. Подошёл день моего доклада об итогах раскопок Алчедарского городища. К этому времени я едва успел свести воедино материалы, полученные за годы предыдущих раскопок и раскопок этого сезона. Большая часть плато была уже раскопана, и казалось, было о чем доложить собравшимся. И всё-таки меня одолевали сомнения. В последние дни были обнаружены замечательные находки: мастерская оружейника, мастерская ювелира с полным набором украшений и среди них массивная серебряная шейная гривна, украшенная сканью — узором из перевитой серебряной проволоки. Такая гривна служила знаком богатства и власти. Все это были интересные и хорошие находки. Судя по ним, на городище жила знать, воины и ремесленники высоких обрабатывающих специальностей — ювелиры и оружейники. А где же жили те, кто кормил их, кто плавил и ковал для них железо, обжигал горшки?

Выходит, что наше городище — голова без туловища. Нет, тут что-то не так. Невозможно представить себе, что все продукты, все жизненно важные изделия обитателям городища откуда-то привозили. Да мы и теперь, в XX веке, на собственном примере убедились, что это не так-то просто. Я поделился своими сомнениями с Шурой и Ионом. Мы решили просить об отмене моего доклада. Не настало ещё время подводить итоги.

Семинар закончился. Он дал немало ценных и интересных материалов. Многие доклады, прочитанные на нем, были потом опубликованы и у нас, и в Румынии. А семинары стали традиционными.

В 1962 году в Бухаресте состоялся уже четвёртый советско-румынский археологический семинар. Но нам, конечно, приятно вспомнить, что первый работал именно в Алчедарском лагере нашей экспедиции...

Гости разъехались по домам, сотрудники экспедиции — по отрядам, а алчедарский отряд с удвоенной энергией приступил к продолжению разведок и раскопок.

Теперь нам стало ясно, что городище — только укрепленный центр поселения. Вокруг него должны были жить крестьяне и гончары, металлурги и кузнецы. Но как их найти? Одна сторона лощины занята вековым лесом, другая — под посадками кукурузы, табака, капусты. Конечно, если бы мы знали точно, где искать следы этой неукрепленной части Алчедарского поселения, можно было бы получить разрешение и на корчевку леса, и на уничтожение посадок. Но в том-то и дело, что мы не знали, где именно искать. Витя проделал во время этих поисков просто невероятную работу. На обоих склонах Алчедарской долины он в десятках мест брал щупом пробу почвы на фосфор и производил анализы, что в нашей полевой лаборатории было не так-то просто. Вообще этот способ определения мест древних поселений и могильников часто дает хорошие результаты. Дело в том, что в любой почве

имеется определённое количество нерастворимых примесей фосфора. Но там, где скапливается много органических остатков, то есть на месте древних поселений, содержание фосфора в почве повышается в десятки раз. По количеству содержания фосфора в почве было открыто не одно древнее поселение. Но у нас все пробы и анализы дали отрицательные результаты. Это было, конечно, очень обидно, но не катастрофично. Ведь жилища и другие сооружения на неукреплённой части поселения могли находиться далеко друг от друга, да и неизвестно, где именно они находились. Витя мог пройти мимо них.

На немногих свободных от посадок и леса местах мы заложили разведочные траншеи и шурфы. В некоторых из них нам попадались древесные угли, отдельные куски глиняной обмазки и древней посуды. Это были следы поселения, по какие слабые и невыразительные следы!

Мы знали, верили, что поселение где-то здесь, поблизости, но все поиски его оказывались тщетными. Это отражалось на всей нашей жизни. Все реже вечерами пели у костра молдавские песни, все меньше шуток и смеха раздавалось в лагере. Мы все превратились в разведчиков, но в разведчиков-неудачников. И каждый переживал это по-своему. Молча, упорно, методично вели разведку Ион и Витя. Откровенно выходил из себя, стал раздражительным и крикливым Георге. Павел возымел привычку вечерами уходить из лагеря и просиживать часами где-нибудь на лесной поляне. Я же не особенно хорошо спал последние ночи. Впрочем, может быть, в этом был повинен непрерывный шум тракторов. Колхоз после уборки урожая круглые сутки производил осеннюю вспашку в нашей долине.

Ранним утром, ещё до завтрака, когда я вышел из лагеря, чтобы пройтись лишний раз по долине, ко мне подошёл старый знакомый — дед Кирилл, сторож с соседнего виноградника.

— Вот вы, Георгий Борисович, всюду черепки ищете, — сказал он весело, — а плуги их за ночь знаете сколько наворотили!

— Где?

— А вон на том склоне, напротив Четауци (так дед называл городище). Пойдёмте, покажу.

Но мне не нужно было показывать. Едва поднявшись на склон, я замер. Такого мне ещё не приходилось видеть! На огромной площади, более двадцати гектаров, плуги за ночь сняли верхний покров почвы. И на всей этой площади на желто-сером фоне суглинка чётко проступали прямоугольные чёрные пятна. Их было девяносто три. Они располагались гнёздами по три — пять в каждом. В почве в большом количестве встречались фрагменты древнерусской керамики, такой же, как на городище, глиняные пряслица для верётен, обломки серпов, железные крюки, стержни. Это были остатки жилищ или мастерских. Тех самых, которые мы искали. А вокруг них находились тёмные пятна поменьше — круглые и овальные. Что это такое, нам ещё предстояло выяснить. Вспашка почти ничего не разрушила...

Я вернулся в лагерь, когда завтрак уже кончился и все собрались на работу.

Подойдя к Георге, спросил нарочито безразличным тоном:

— Юра, а что ты дашь за открытие поселения — полцарства?

Георге хмуро ответил:

— А я вам говорю, Георгий Борисович, теперь не до шуток. И вообще, у меня уже ноги болят от этих разведок.

— Ну, а все-таки, что бы ты дал?

Георге, бросив на меня негодующий взгляд, проворчал:

— Да что хотите, хоть всё царство.

Я не мог больше терпеть, все рассказал, и через несколько минут всё население лагеря собралось на склоне долины.

После тщательного осмотра всех пятен, после сбора обломков посуды и вещей с поверхности каждого пятна, радостные и возбуждённые, мы возвращались в лагерь за инструментами.

Я спросил Георге:

— Так как же, Георге? Хочу с тебя должок получить — царство.

Но Георге, который находился в прекрасном расположении духа, уже не так легко было подловить:

— Это же не мы открыли, Георгий Борисович, это пахота — чистая случайность!

— Нет! — Зло сказал Павел. — Вот и врешь. Это не случайность. Случайно, что колхозники именно теперь вспахали этот склон. Но не случайно мы искали это поселение и не случайно оказались здесь. Мы бы всё равно нашли, открыли его дневную поверхность. Да, момент открытия поселения случаен. Так часто бывает. Зато сам факт открытия закономерен. Быть не могло, чтобы мы не открыли!..

С колхозом, на территории которого уже ряд лет ведутся археологические работы, нетрудно было договориться. По нашей просьбе сельскохозяйственные работы на склоне долины были приостановлены. Колхоз помог нам всем, что было к его силам. Мы начали раскопки, причём как только другие отряды экспедиции заканчивали работу на своих объектах, они вливались в Алчедарский лагерь. Нужно было торопиться. Тем более, что председатель колхоза велел втащить на вершину холма плантажный плуг и его сверкающий лемех на протяжении всех раскопок висел над нами, как дамочков меч. Впрочем, мы и сами всё понимали и не нуждались в этих деликатных намёках.

Один за другим чёрные прямоугольники раскопов покрывали склон, одно за другим выступали на дневную поверхность, проявляясь до мельчайших деталей, все новые и новые жилища, мастерские, зерновые ямы и производственные сооружения.

Обитатели неукреплённой части поселения жили в небольших полуземлянках с каменными печами. Они занимались земледелием и скотоводством. Мы находили в жилищах и возле них железные серпы, косы, лемехи для плугов, каменные жернова ручных мельниц, кости коров и других домашних животных, ямы с обугленными, а потому сохранившимися зёрнами пшеницы, ржи, проса, гороха...

Кроме того, жители поселения охотились, ловили рыбу, собирали мед. Мы находили кости кабана, косули, различных рыб, охотничьи стрелы — срезни с тупым концом, чтобы не попортить шкуру, рыболовные крючки и блесны для ловли крупной хищной рыбы, медорезные ножи с их характерной широкой лопаточкой лезвия и изогнутой коленом рукояткой. Все это мы, собственно, и ожидали найти. Но потом пошли находки совершенно неожиданные.

...Рабочий день уже заканчивался, когда с объекта №67, с раскопа Георге, за мной пришёл в лагерь Тиника — мальчишка из села Трибужены, не первый год работавший в экспедиции.

— Георге Феоктистович сказал, чтобы вы сейчас шли к нему! — Скороговоркой выпалил он.

— А что там такое? — Спросил я по пути к раскопу.

Типика пожал плечами:

— Сам не знаю. Такая дырка в земле, как будто большой крот сделал, а потом пожар был и крот убежал. А Георге Феоктистович говорит: «Купьтор де фер». Чудно.

— Ну, ты ещё мало на свете видел, — довольно сердито сказал я. — Тебе ещё не раз чудно будет.

На раскопе все рабочие стояли наверху у отвала, опустив лопаты, а начальника вообще не было видно. Только подойдя к самому раскопу, я увидел Георге, который стоял на коленях посередине довольно большого пятна и что-то усиленно расчищал ножом.

— Правда домница? — С нетерпением спросил я.

— Смотрите сами! — Отозвался Георге, не отрываясь от расчистки.

Я спустился. Никаких сомнений быть не могло. Из материковой глины выходил на поверхность колошник небольшой доменной печи — домницы. В изломе хорошо были видны четыре слоя глиняной обмазки ее толстых стен. Георге ножом вынимал из домницы уголь и куски железного шлака. Стенки расширялись книзу, дно было слегка вогнутое. Сбоку небольшое полукруглое топочное отверстие с горизонтальным кирпичиком — лотком. В это отверстие входили четыре глиняные трубки. Концы их, обращённые к внутренности печи, к шихте, были забиты застывшим шлаком. Это были сопла, через которые мехами во время выплавки нагнетался в домницу воздух. Ведь даже для получения тестообразного, губчатого железа нужно было достигнуть температуры немногим ниже полутора тысяч градусов...

Маленькая, высотой всего около метра печка, но это, безусловно, домница — далёкая предшественница современных доменных печей, служившая для тех же самых целей, что и гигантские домны XX века! Вот это находка! О такой мы и мечтать не смели. Раньше весь доменный процесс древности, конечно существенно отличавшийся по технологии от современного, восстанавливался только по шлакам и железу да по этнографическим аналогиям. А теперь здесь, на Алчедарском поселении, мы впервые увидели древнерусскую домницу в натуре, совершенно целую, если не считать слегка повреждённой верхушки — колошника...

Весь лагерь собрался у объекта №67. Но Георге, категорически отказавшийся от какой-либо помощи, сам уже поздним вечером закончил расчистку. В продолжение двух последующих дней домница сохла, чертёжники делали чертежи в разных ракурсах, художники зарисовали её, а Георге описывал и фотографировал с разных сторон. Эту, первую в Молдавии древнерусскую домницу мы решили в целостности и сохранности взять и перевезти в музей. Но оказалось, что это не так-то просто. Да, конечно, по сравнению с современными домнами это малютка, а вот для перевозки — целая махина. Многослойные стенки её имеют в толщину сантиметров двадцать. Тяжёлая, да при этом ещё, того и гляди, развалится. Почти тысячу лет была погребена домница в земле. Стенки и дно её стали расслаиваться, глина приобрела хрупкость. Дня два домница должна была обсыхать. Но дальше нельзя было ждать ни одного дня. Если бы глина пересохла, стенки стали бы трескаться и крошиться. Георге предложил пропитать домницу жидким пятипроцентным раствором клея БФ-4 на спирте. Расчёт был правильным. Такой жидкий раствор мог проникнуть глубоко в толщу стенок. Потом спирт улетучился бы, а клей остался, цементируя и скрепляя глину. Для этого нужно было впрыскивать раствор под давлением. И тут выяснилось, что, не рассчитывая ни на что подобное, мы не взяли с собой пульверизатор. Но Георге уже ничем нельзя было остановить. В сельской больнице он в два счета раздобыл несколько резиновых груш, и они с успехом заменили пульверизаторы. Когда стенки, пропитанные раствором БФ, затвердели, мы подрыли под домницу прочный щит из досок, прибили к щиту ручки и на этих

импровизированных носилках торжественно перенесли домницу в лагерь.

Оказалось, что не охота, не промысел и даже не земледелие и скотоводство были основным занятием жителем неукреплённой части города. На всей площади этой части поселения в огромном количестве встречались куски железного шлака, руды, кричного железа, а иногда и целые крицы — выпуклые с одной стороны и плоские с другой железные лепёшки. А потом мы нашли и другие домницы. Возле них валялись сотни обломков глиняных сопел.

Здесь же находились и каменные площадки для дробления железной руды, и большие печи с многослойным каменным подом, конденсирующим тепло. В таких печах руда, предварительно раздробленная, сушилась и обогащалась перед закладкой в домницу вместе с углем. Мы нашли груды древесного угля, ямы возле домниц, заполненные железным шлаком, оставшимся после плавки.

Иногда одна домница помещалась возле жилища, иногда по пять–шесть домниц находилось в центре небольшого гнезда жилищ.

Это было поселение металлургов. Железа, которое они выплавляли, было достаточно не только для нужд ремесленников, живших на городище, но и для населения всех окрестных деревень. А потом мы нашли и мастерские литейщиков и гончаров. Но металлургия преобладала на поселении. Само же Алчедарское городище было только цитаделью, замком, где жила знать, воины и обслуживавшие их оружейники и ювелиры. Эта цитадель находилась в центре огромного поселения, раскинувшегося, как показали дальнейшие разведки и раскопки, на площади около ста гектаров!

Яркие, живые черты истории раскрывались перед нами шаг за шагом. В этой неукреплённой части поселения совершенно иным, чем на городище, был уровень жизни, даже другая вера. Здесь не нашли мы роскошных серебряных с позолотой украшений, сделанных при помощи самых совершенных приёмов ювелирного мастерства, а только самые простые медные кольца и серьги — грубые литые копии с наборных серебряных украшений. На городище были найдены нательные кресты — значит, жители его были христианами. А в неукреплённой части поселения крестов не было, зато много языческих амулетов: просверленные медвежьи и кабаньи клыки. А возле домниц нашли мы даже маленькие глиняные человекоподобные статуэтки — идольчики, изображавшие славянского языческого бога Сварога, покровителя кузнецов и плавщиков железа.

В те далёкие времена христианство было религией господствующих классов. Простые люди неохотно принимали его, предпочитая сохранять старые языческие обряды и верования...

Перед нами было не просто поселение, а феодальный город, в котором было чёткое разделение между людьми и по роду занятий, и по социальному положению; город, где основным занятием населения было ремесленное производство, то есть производство на рынок, товарное производство. Об этом говорили не только вещественные остатки чётко специализированных ремёсел, но и найденные на поселении денежные знаки: русская гривенка — слиток, византийские и восточные монеты.

Что же это за город? Неужели он не оставил никаких следов в памяти потомков, после того как в середине XII века население покинуло его из-за непрерывных нападений кочевников?

Этот самый большой древнерусский город в Молдавии находился на Днестре между Белгородом и Хотинем. Именно там, где помещал древнерусский летописец город Черн в «Списке городов русских». Этот город чёрной металлургии лежит возле притока Днестра — реки Черны. Многие названия, например названия сел, часто меняются. Но названия рек очень стойкие — они сохраняются столетиями.

Древнерусский город, лежащий в Поднестровье между Белгородом и Хотинем на реке Черне,



и есть летописный Черн. Так была раскрыта тайна Чёрного города, многие десятилетия волновавшая умы учёных.

...Однажды, ясной осенней ночью, поднялся я на вал Алчедарского городища. В лагере ещё горели фонари и лампы. Между острыми, геометрически правильными силуэтами палаток и причудливо изогнутыми силуэтами деревьев то здесь, то там мелькали огоньки. Я попытался представить себе, как много сотен лет назад в эту же ночную пору стоял здесь, на гребне вала за деревянным забором, часовой. Вот он мерно прохаживается вдоль стены, всматриваясь вдаль. А перед ним со всех сторон раскинулся город.

Судя по открытым нами жилищам, в городе жило не менее двух с половиной — трёх тысяч человек.

Многие его жители уже засыпали, как засыпает сейчас Алчедарский лагерь. Но металлурги и ночью творили своё великое таинство. Часовой видел, как полыхало пламя из домниц, как медленно остывали, покрываясь тёмной шапкой, груды железного шлака...

Но нет! Чего-то ещё недостаёт в этой картине. Мы ещё не знали точно размеров города, ещё не нашли тогда могильников, в которых погребали жители города своих умерших. А ведь это очень важно — в могильниках многие вещи сохраняются совершенно целыми, много можно узнать по обряду погребений; по черепам наши антропологи смогут восстановить облик древнерусских людей того времени...

Эти задачи тоже были решены в своё время, но на место их вставляли новые и новые. Раскопки Алчедарского поселения продолжаются и сейчас, и каждый сезон работ позволяет всё глубже проникнуть в тайны Чёрного города, все полнее и ярче представить себе жизнь и судьбу наших далёких предков...

Уже несколько лет и много других раскопанных археологических памятников отделяют меня от времени открытия Черна.

Тринадцать лет жизни посвящено археологическим исследованиям в Молдавии. Волнение, радости и горести поисков тиверских поселений, раскопок Екимауц, разгадки Черна... С каким удовольствием я бы согласился пережить это опять, если бы не одно обстоятельство: экспедиция продолжает работу. Моих товарищей и меня ждут новые, ещё не изученные древние поселения, новые, ещё не разгаданные загадки истории...

## Примечания

1

Голка — вражда, перебранка.

2

Лалы — украшение

3

Диргем — средневековая восточная монета.

4

Гулямы — отборные войны.

5

Перкунас, Перун — когда-то верховное языческое божество, общее у славян и литовцев. В настоящее время в живом русском я уже не употребляется, а у литовцев сохранилось, но как ругательство: дьявол, поганец. По Перкунайс — одна из грамматических форм.

6

Вайделотка — жрица верховного божества Перкунаса.

7

Кроме того, широко известны Замковая гора и башня Гедимина в Вильнюсе.

8

Канклес — дудка.